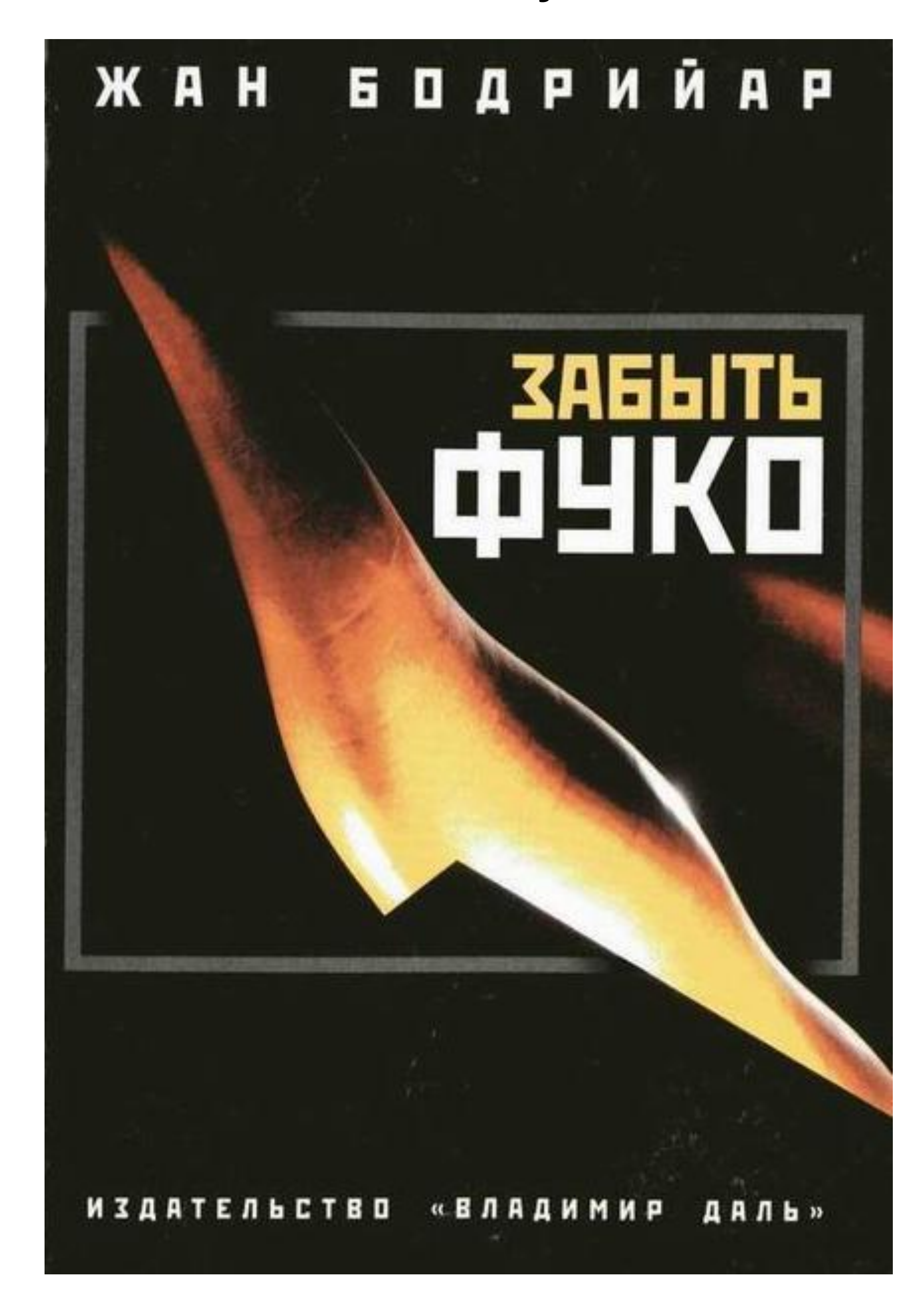
Жан Бодрийар
Забыть Фуко



Аннотация

Эссе Жана Бодрийяра «Забыть Фуко» (1977) является откликом на книгу Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать». Бодрийар пытается переосмыслить базовые концепты исследования Фуко: власть, сексуальность, производство. Демонстрируя «как сделан текст Фуко», Бодрийар демонстрирует и сами эти понятия. По Бодрийару, все они обратимы. Находятся в поле симуляции, распылены и ускользают от анализа, навязывающего им жесткую структуру. Анализ Фуко оказывается в ловушке понятий, составляющих предмет его исследования и, одновременно, порождающих сам текст.

Для специалистов и всех, интресующихся современной философией.

Жан Бодрийар
Забыть Фуко

Реквием сексуальному
(предисловие)

Профессор социологии университета ПарижНантер Жан Бодрийар родился в 1929 г. в Реймсе.

Он — редактор журналов «Utopie», «Traverses». Переводил сочинения Б. Брехта.

Публикации:

«Система вещей», 1968 (есть на русском языке),

«La Societe de Consommation» (1970), «Le Miroir de la Production» (1973), «L'echange Symbolique et laMort» (1976), «Oblier Foucault» (1977), «L'effet Beaubourg» (1977), «Le P. C. ou les paradis artificiels du politique» (1978). Наиболее яркие сочинения последнего десятилетия — «Год 2000 может не наступить» (1990), «Прозрачность зла» (1990).

В «Забыть Фуко» Бодрийар сначала, может быть, по причине критического отношения к популярному философу, приходит к недоверию относительно сексуального освобождения. Отказ от ограничений и запретов привел к тому, что все стало сексуальным, и от этого секс как бы растворился и исчез. Энергия либидо, о воспроизводстве которой очень заботился Фрейд (называвший свой подход «топико-экономическим»), оказалась попусту растраченной и перестала питать культуру. Наблюдая за изменениями антропологического вида и сексуальных ориентации у молодежи, можно прийти к выводу: мы все становимся транссексуалами (если точно в философском смысле понимать это слово, означающее «выход за пределы сексуальности»); мы становимся «полыми» или, точнее, бесполыми людьми, занимающимися сексом исключительно знаково и механически.

Может показаться, что транссексуальное, трансэстетическое и трансполитическое — это благо. Люди перестали считать секс и политику главными проблемами, освободились от «зова пола», от власти идей и тирании вождей. Они лишились как полового, так и государственного инстинкта. Родина, мать, жена, дети — все это перестало быть чем-то, что раньше люди берегли и защищали преданно и безрассудно. Кажется, что с растворением сексуального обрывается еще одна нить, связывающая человека с «почвой». Пол не выбирают, поэтому мужчины и женщины связаны узами взаимного влечения и зависимости, которые с рациональной точки зрения кажутся не только невыносимо тяжелыми, но и унизительными. Интеллигентные люди стыдятся половой любви и стремятся превратить ее в своеобразный духовный роман.

Сначала «умер Бог», потом стали бороться против собственности, власти, государства и мужского господства. Сегодня философы объявили о смерти человека и, наконец, самой философии.

Все эти манифесты от безобидных философских призывов и вызывающих насмешку феминистских лозунгов до грозных идеологических манифестов и шумных политических акций сопровождаются часто незаметными изменениями повседневных форм жизни.

Улучшение условий труда и подъем материального благосостояния, урбанизация и борьба за комфорт, пластическая хирургия и изменение пола, распространение новых религий и формирование новых масс-медиа — все это коренным образом изменило человеческую жизнь, которая оторвалась не только от природно-биологической основы, но и от социума и культуры, как они строились на протяжении веков.

Осознание того, что поведение людей определяется не столько рекомендациями разума, сколько борьбой индивида с природой, другими людьми, с самим собой за признание, — борьбой, исход которой определяется равновесием противоборствующих сил, приводит к необходимости изменения классического способа философствования, согласно которому любое начинание, будь то религиозное, научное или политическое, должно

строиться на рациональной основе. Бодрийар и Фуко в чем-то близкие и вместе с тем располагающиеся по разные стороны современной границы «классического» и «неклассического» авторы. Фуко — «клиницист цивилизации» — ставит диагноз смертельной болезни современности и видит лекарство в

возвращении к античной «заботе о себе». Бодрийар описывает ее в терминах не медицины, а теории катастроф. Он не выписывает лекарства и не обещает возможности спасения. При чтении его работ возникает чувство безысходности и вместе с тем того особенного спокойствия, которое наступает у бывалых солдат перед боем. Какие бы меры предосторожности мы ни принимали, как бы ни старались обеспечить свою безопасность, в конце концов, все решит судьба. Поэтому в «Войне и мире» Толстого Кутузов перед сражением не суетился, а безмятежно спал и даже похрапывал.

Противоположность концепций сексуальности Фуко и Бодрийара можно выразить примерно так: для Фуко секс — орудие угнетения; общество не замалчивает секс, а наоборот, эксплуатирует его. Конечно, это опасно, однако создается эффективная система защиты, нейтрализующая чрезмерность и эксцессы. Парадокс «сексуального освобождения» Фуко, сам переживший «сексуальную революцию», видит в том, что чем больше люди думают или говорят о нем, тем в большую зависимость от него попадают.

Действительно, наблюдая сложный «танец» защитников демократического общества в дебатах о порнографии, можно убедиться, что в кажущейся непоследовательности политики общества относительно секса (с одной стороны, его демонстрация на экранах осуждается, а с другой — поощряется) проявляется определенный порядок. Он останется скрытым, если видеть его в рационализации, то есть в разработке строгой и, так сказать, общественно полезной — экологически и демографически целесообразной теории. И наоборот, он станет явным, если отказаться от такого просветительского отношения к сексуальности. Если классическое общество ориентировалось на открытие истины о сексе, которая мыслилась в форме понятия, упорядочивающего сексуальное поведение, то современная технология власти опирается на кажущиеся бестиализирующими зрелища.

Можно вспомнить, как совсем недавно в нашей стране было построено сексуальное просвещение.

Прежде всего исключался, как модно сейчас говорить, «видеоряд»: никаких картинок!

Главная трудность состояла в выработке «пристойного» языка о сексе и, несомненно, важнейшую роль в кодификации его играл И. С. Кон. Государство начинает интересоваться, как обстоят дела с сексом у его граждан.

Власть проникает в сферу интимного, создает нужный ей порядок, опираясь на критерий истины.

Люди сами начинают искать истину о сексе, и этим обусловлена популярность психоанализа.

Гуманизирующе-цивилизующее значение исследований и разговоров о сексуальности видится в открытии истины, на основе которой сексуальные отношения приобретают строгий упорядоченный характер, а разного рода «извращенцы» подвергаются лечению или изоляции. Собственно, Фуко — сам представитель одного из сексуальных меньшинств — и предпринял восстание против технологии управления сексуальностью на основе идеи истины.

При этом он совершил кажущийся неожиданным поворот в сферу духовности. Его обращение к сексуальным практикам и теориям античности вызвано отрицательным отношением к технологиям современного общества, которые, как он думал, основаны на критерии истины и на воле к знанию. Современным попыткам создать науку о сексе он противопоставляет искусство эротики, культивирующее наслаждение.

Бодрийар иначе оценивает стратегию и тактику власти по оношению к сексуальности.

Прежде всего он не переоценивает «волю к знанию». Манифестация истины о сексе — скорее ширма, чем подлинная технология власти. Да, существует институт медицинского контроля за патологиями сексуальности, в основе которого лежат морально и политически

устаревшие догмы. Да, существует достаточно широкий слой разного рода психоаналитиков и консультантов, которые советуют и рекомендуют, как «правильно» заниматься сексуальной деятельностью, и избавляют от разного рода сбоев и аномалий. Однако ни медицинско-судебный контроль, ни «биовласть», осуществляемая посредством специалистов, не составляют арматуру порядка сексуальности. Как и во всем, современное общество, по сравнению с классическим, являет собой картину хаоса и упадка.

Бодрийар более ярко описывает картину его разложения по сравнению с Ортегой-И-Гассетом, Ясперсом и Хайдеггером. Довоенные авторы с тревогой наблюдали за омассовлением общества и технизацией мира, ибо видели в этом угрозу гуманистическим ценностям. Мы, современные гуманисты — всего лишь небольшая секта защитников интеллектуальной книжной культуры, живем в обстановке, напоминающей об эпохе «хлеба и зрелищ». Бодрийар уже не верит в возрождение господства слова и теории над нечеловеческим в человеке. Он не мыслит себя «клиницистом цивилизации», ибо это предполагает веру не только в истинный диагноз, но и в эффективность рецептов спасения. Разум уже не может нас спасти. Общество отказалось от рационального контроля со стороны государства за экономическими, политическими, информационными и иными процессами. Национальное государство утратило способность регулировать циркуляцию товаров и денег, издание книг и журналов. Тем более оно оставило мысль об управлении сексуальностью с целью сохранения генофонда нации. В результате глобализации гигантский мировой механизм начал работать «вразнос». То, что происходит в сфере сексуальности — дикие бестиализирующие зрелища, — это лишь отдельные метастазы болезни, охватившей современный мир. Его уже нельзя спасти рецептами просвещения, критики идеологии и сексуальной революции. Все давно всё знают, большие идеологии развалились, а секс у всех на виду, и о нем постоянно говорят. Однако в результате такого «освобождения» возник коллапс, грозящий неминуемым взрывом. Бодрийар уже не верит в способность людей предотвратить его. Перефразируя Хайдеггерово «нас может спасти только Бог», рецепт спасения Бодрийара можно выразить так: нас смогут «освободить» только природные катастрофы, только они заставляют нас «одуматься».

Мнение Бодрийара — несомненно авторитетное; его оценка современности настолько самокритична, что не оставляет надежды на спасительную роль разума. Но, спросим мы, живущие «после оргии», не хранит ли эта оценка верность идеалам гуманистов-шестидесятников, не являются ли сами эти идеалы ограниченными.

Вернемся к Римской империи, кровавые технологии которой внушали такой ужас греческим гуманистам, что многие из них, подобно Августину, сочли, что противостоять их бестиализирующему воздействию может только христианская аскеза. Сегодня дикие зрелища эпохи упадка Рима репрезентируются на наших экранах, и мы видим в этом одичание людей. Отличие Бодрийара от гуманистов состоит только в том, что он уже не верит в способность разума и книг остановить одичание людей. Но спросим себя, не содержат ли открытые Римом технологии нечто позитивное? К сожалению, негативное отношение к ним, выработанное гуманистами, не способствовало изучению ни их генеалогии, ни их позитивной роли в управлении большими массами людей. Между тем, следы римской культуры присутствуют в современности не только в форме права. Европейская культура сделала ставку отнюдь не только на открытую греками установку на истину. Ее жизнеспособность связана с остающимися в тени аскетического идеала телесными практиками. С точки зрения рационализма и гуманизма, разного ро-. да развлекательные зрелища и тем более фильмы ужасов и эротика являются данью нечеловеческому в человеке и подлежат, если не запрету, то ограничению. Наоборот, с точки зрения политика, управляющего стадом таких «домашних животных», какими являются люди, именно эти зрелища вовлекают их в открытую общественную жизнь, отвлекают от протеста и способствуют «цивилизованному» образу жизни.

Можно вспомнить «Государство» Платона, в котором мало что осталось от утопической веры в разум или «заботу о себе», на которую сделал ставку Фуко. Политик

отличается от философа и управляет людьми не так, как наставник учениками.

Поздний Платон уже не верит в то, что силой учения можно сделать мужественных одновременно рассудительными и наоборот.

Задачу политика он формулирует как организацию браков между мужественными и рассудительными, ибо надеется теперь только на достижение пропорции заложенных в человеке природных способностей. И в Европе давно уже выдвигались «евгенические» идеи в качестве рецепта спасения генетического капитала нации. В конце концов, романтическая версия «заботы о себе», выдвинутая Фуко как альтернатива репрессивному отношению к сексуальным меньшинствам, опровергнута отнюдь не теоретической критикой, а ничтожным вирусом.

Бодрийар как бы предвидел трагическую смерть Фуко от СПИДа, и это самый сильный аргумент его критики. Однако думается, что он несколько недооценил возможности современых технологий. Если рассуждения о человеке основывать не на почве идеалов разумности и моральности, а на почве технологий, то на вопросы о том, кто я: человек или машина, мужчина или женщина, носитель культурного или генетического капитала, — следует отвечать с технологических позиций. И если быть последовательным, то следует окончательно устранить всякие внешние и прежде всего моральные установки.

Это может казаться окончательным распадом порядка и стать поводом к возобновлению начатого Хайдеггером разговора о признания почвы и судьбы. Однако современники, кажется, вовсе не страдают от этого, охотно прибегают к услугам пластической хирургии, и некоторые даже изменяют пол. То, что МерлоПонти казалось немыслимым — отказ от своего лица, — стало обычным делом. При этом речь не идет о метафизическом отказе, трагизм которого чувствуется в знаменитых романах Кобо Абэ, и даже не о смене масок, как у Кьеркегора, а о позитивном акте построения себя. Если у Фуко «практики себя» реализуются в сфере духовности, если Бодрийар расценивает современные технологии телесности как искусственное протезирование органов, необходимых для потребления все более искусственных продуктов современной индустрии, то для большинства людей, прибегающих к услугам пластической хирургии, коррекция фигуры, смена лица и даже пола кажется не утратой природной или культурной идентичности, а обретением нового, хотя и искусственного, но вполне онтологического статуса. Современный человек меняет знаки не потому, что утратил связь с почвой, наоборот, — он меняет саму почву и судьбу, которые ранее считались незыблемыми.

По ту сторону знания, власти и сексуальности

Нельзя сказать, что Фуко некритично манифестировал лозунг сексуального освобождения, под которым разворачивались события 1968 г. в Париже. Как и Бодрийар, он достаточно критично относился к этому требованию. Первый том его «Истории сексуальности» начинается с критики тезиса о подавлении сексуальности.

Действительно, если сравнивать грубоватую откровенность не только обычных людей, но и писателей XV–XVII вв. (наставления Эразма, касающиеся выбора хорошей проститутки, эротические истории Боккаччо и даже проповеди Аввакума), с ханжеским лицемерием века Просвещения (скрывающего сексуальность в пользу функции воспроизведения), то правота борцов за сексуальное освобождение кажется несомненной.

Секс, не ведущий к зачатию детей, подвергается осуждению, и всякий, кто наберется наглости его демонстрировать вне стен супружеской спальни, получает соответствующее наказание. В словарях этого времени сообщалось, что мужчины не имеют секса, так как умеют управлять собою, и он встречается только у женщин. Лицемерное отношение буржуаз ного общества к сексу выражалось в том, что местами его терпимости стали публичный и сумасшедший дома. Благодаря Фрейду произошло небольшое послабление официальных

стратегий запрещения, умолчания и наказания, которые привели к повальной эпидемии истерии особенно у женщин. Но и у него разговоры о сексе оказались локализованными психоаналитической кушеткой.

Радикальные противники стратегии подавления призывали к восстановлению желания и удовольствия во всей их полноте. Они выводили притеснение секса из всеобщего стремления к производительному труду: буржуазное общество стремилось очистить свои ряды не только от бродяг и нищих, но и от тех, кто бездумно растрачивает время в удовольствиях, вместо того чтобы производить товары. Неудивительно, что борцы за сексуальное освобождение отождествляли себя с политическими революционерами и занимали критическую позу по отношению к власти. Несомненно, «Эросу и цивилизации» Г. Маркузе присущи пророческий пыл и жаркий пафос соединения революции и наслаждения.

Гипотеза подавления оказывается не только теоретической, но и экономической и социальной.

Она подтверждается как очевидным фактом запрещения сексуальности, так и самим функционированием власти как запрета. Отсюда возражения Фуко имеют комплексный характер.

Он высказывает сомнения и в исторической очевидности подавления секса, и в том, что сущность власти сводится к подавлению.

Наконец, он высказывает предположение о том, что сам критический дискурс и манифестация сексуального наслажения сегодня выступают как новые стратегии власти.

Панорама европейских дискурсов о сексуальном не подтверждает гипотезу подавления.

Поэтому Фуко выдвигает свою идею: «Общество, которое складывается в XVIII веке, — как его ни называть: буржуазным, капиталистическим или индустриальным, — не только не противопоставило сексу фундаментальный отказ его признавать, но, напротив, пустило в ход целый арсенал инструментов, чтобы производить о нем истинные дискурсы. Оно не только много говорило о сексе и принуждало к этому каждого, но предприняло попытку сформулировать о нем регулярную истину. Как если бы оно подозревало в сексе некую фундаментальную тайну.

Как если бы оно нуждалось в этом производстве истины».[1] По мнению Фуко, в ходе этой игры, собственно, и конституировалось знание о субъекте, и не потому что сексуальность является онтологическим качеством человеческого, а потому что такая стратегия власти оказалась наиболее эффективным способом контроля и управления, то есть одомашнивания, цивилизации и гуманизации стадного животного, каким является человек.

Соглашаясь с тем, что общество не только не запрещало говорить о сексе, но напротив, постоянно интересовалось тем, как обстоит дело у граждан по этой части, и рекомендовало наиболее эффективные способы реализации удовольствия, то есть проникало туда, где раньше ему не было места, — в сферу приватного, интимного, тем не менее можно возразить, что таким образом подавлялся не только спонтанный, неконтролируемый секс, но и даже считающийся полезным. Фуко указывает, что удовольствие при этом не было изгнано, но само переместилось в сферу дискурса: «Мы изобрели, по крайней мере, иное удовольствие: удовольствие, находимое в истине об удовольствиях, удовольствие в том, чтобы ее знать, выставлять ее напоказ, обнаруживать ее, быть зачарованным ее видом, удовольствие в том, чтобы ее выговаривать, чтобы пленять и завладевать с ее помощью другими, хитростью выгонять ее из

логова — специфическое удовольствие от истинного дискурса об удовольствии».[2] Таким образом, задача психоанализа — не в достижении райской гармонии и решении проблемы одновременности достижения оргазма, а в производстве нового типа

---

[1] Фуко М Воля к знанию. М, 1996. С.170.

[2] Там же. С. 172.

удовольствия, связанного с производством дискурса о сексе. Так реализовалось в наше время требование о пропорции и мере истины и удовольствия, о которой мечтал Сократ.

Но тогда проблема отношения общества к сексуальности заметно усложняется. С одной стороны, возникает соблазн, которому, собственно, и поддался Фуко, когда писал второй и третий тома своей «Истории сексуальности»: противопоставить современной науке о сексе старинное искусство эротики, которое было нацелено именно на получение удовольствия.

С другой стороны — осмыслить тот факт, что режим циркуляции удовольствия современное общество перевело в режим циркуляции знаков, что и сделал Бодрийар, показавший, что семиотизация секса привела к его исчезновению.

Все мы, получающие и передающие знаки сексуальности, превратились в транссексуалов.

В первом томе Фуко выбирает иной путь. Он называет дискурсы о сексе диспозитивами власти, и это объясняет тот факт, почему она, вместо того чтобы и дальше подавлять циркуляцию знаков сексуальности, овладевает дискурсами о ней, и таким образом находит новую более эффективную стратегию управления, основанную не на запрете, а на совете и научной рекомендации.

Реально это проявляется в том, что общество, овладевая механизмом производства истины о сексе, уже не боится интенсифицировать его и доводит до совершенства старинную тактику признания: знаки сексуальности и удовольствие от них она разрешает для того, чтобы каждый пережил свою греховность, раскаялся и стал послушным. Ведь как можно управлять людьми, если они не чувствуют за собой никакой вины?

Фуко писал: «Западу удалось не только и не столько аннексировать секс к некоторому полю рациональности, в чем, безусловно, еще не было бы ничего примечательного, — насколько мы привыкли со времен древних греков к подобным „захватам", — нет: удалось почти целиком и полностью поставить нас — наше тело, нашу душу, нашу индивидуальность, нашу историю — под знак логики вожделения и желания. Именно она отныне служит нам универсальным ключом, как только заходит речь о том, кто мы такие».[3] Как ученые, так и проповедники морали уже несколько веков делали из человека детище секса.

Это произошло не потому, что в глубине каждого из нас прячется нечто вроде полового маньяка Крафта-Эбинга, чудовища современных фильмов- ужасов или, на худой конец, интеллигентного носителя эдипова комплекса. Изменилась стратегия власти, которая уже не может быть сегодня понята ни в терминах насилия и запрета, ни в терминах закона. Она уже не опирается на право на смерть, а функционирует как полиморфная техника управления жизнью в форме советов и рекомендаций специалистов.

Открытие новой формы власти, исследованием которой Фуко занимался самым непосредственным образом, стало причиной негативного отношения к психоанализу как Фрейда, так и Лакана. По мнению Фуко, хотя они и отказались от упрощенной гипотезы о подавлении секса, тем не менее сохранили традиционное представление о власти в терминах сущности, локализации и желания. Кроме упрощенного понимания власти, согласно которому она может говорить только «нет», традиционная точка зрения представляет ее как нечто диктующее свой закон сексу, предписывающее ему некий порядок, ограничивающее недозволенное и невысказываемое при помощи дискурса права.

Наблюдая в действительности все более тонкие и изобретательные механизмы власти, Фуко критически расценивает ее юридическую интерпретацию.

Он писал: «Под властью, мне кажется, следует понимать прежде всего множественность отношений силы, которые имманентны области, где они осуществляются, и которые конститутивны для ее организации; понимать игру, которая путем беспрерывных битв и столкновений их трансформирует, усиливает и инвертирует; понимать опоры,

---

[3] Там же. С. 177.

которые эти отношения силы находят друг в друге таким образом, что образуется цепь или система, или, напротив, понимать смещения и противоречия, которые их друг от друга обособляют; наконец, под властью следует понимать стратегии, внутри которых эти отношения силы достигают своей действенности, стратегии, общий абрис или же институциональная кристаллизация которых воплощаются в государственных аппаратах, в формулировании закона, в формах социального господства».[4] Власть нельзя выводить из какой-то точки, очага суверенности, института господства, распространяющегося от высшего к низшему. Власть исходит отовсюду, и поэтому она вездесуща и является совокупным эффектом различных флуктуации. Фуко указывал, что власть не есть нечто, что захватывается или утрачивается, она не располагается в каком- то внешнем привилегированном пространстве, но имманентна формам жизни и может производиться в семье и в иных социальных институтах и группах. Это приводит к транс формации стратегий эмансипации. В современном обществе уже нельзя освободиться всем и сразу путем революции или иного протеста. Более эффективными оказываются множественные акции сопротивления, и среди них — самые невероятные и даже дикие и неистовые.

Такой образ власти и сопротивления, согласно которому власть не стоит перед нами фронтально, а окружает нас со всех сторон, не располагается вне нас как инстанция порядка и цензуры, а захватывает наши душу и даже тело, приводит к весьма пессимистичным выводам: мы не можем доверять даже собственным обидам — этому очевидному столкновению с властью, даже чувству справедливости, нарушение которого всегда считалось критерием репрессивности общества. Мы не можем доверять даже собственному критическому дискурсу, направленному на обличение власти. И все-таки Фуко не смог остановиться в своей критике, хотя и понимал, что она может быть нейтрализована и даже использована властью в ее интересах.

Он призывал к ответственности и полагал, что нельзя доверять кому-либо свои открытия, если не уверен, что они не нанесут вреда другим людям, не станут частью стратегий управления ими. Так он наложил запрет на публикацию всего того, что сам не подготовил для печати. Но, во-первых, архивы его публикуются как пересказы тех, кто с ними работал; во-вторых, даже если бы он был жив, то вряд ли смог бы запретить бесчисленной армии комментаторов и интерпретаторов «прореживать» свой дискурс.

Может быть, Бодрийар стал таким читателем Фуко, который более серьезно воспринял все сказанное им о многоликой стратегии знаниявласти.

Сам Фуко, хотя и возражал против их отождествления, все-таки не смог выбраться изсетей. Бодрийар из чтения Фуко сделал вывод, что лучше всего вообще не соприкасаться с сетями знания-власти и не заниматься дискурсивным анализом. Отсюда и лозунг «забыть Фуко», чем-то напоминающий вывод старого Хайдеггера относительно метафизики: не стоит заниматься преодолением метафизики, нужно предоставить ее самой себе. Если критика сексуальности живет тем, что продуцирует парадоксальное удовольствие и таким образом порабощает, а не освобождает от сексуальности, то следует занять какую-то иную позицию. Если апология искусства эротики способствует не развитию, а, напротив, регрессу и деградации наслаждения, то это значит, что тактика, избранная Фуко в последующих томах «Истории сексуальности», также не достигает своей цели. В этих условиях возможности развертывания нового дискурса о сексуальном для Бодрийара — несомненно чуткого читателя Фуко — сужаются до того, что не оставляют иного выбора, кроме как пройти весь путь до конца вплоть до фазы самоистощения секса в транссексуальности.

Транссексуальность

[4] Там же. С. 192.

Достижения старшего поколения, как реализация поставленных им задач, для молодых выступает как обременительная, но неизбежная данность, к которой они не испытывают никакого почтения, а используют, как могут, в своихинтересах. Такое потребительское отношение молодых к достижениям старших кажется невозможным и даже оскорбительным. Но и у молодых есть своя правда. Выросшие при более благоприятных условиях, они уже не понимают ни сдерживающего, ни освободительного значения прежних правил жизни. Для них эти правила столь же репрессивны и архаичны, как все заветы или запреты отцов. Сегодня шокирующим выглядит сексуальное поведение молодежи.

Сначала в этом видели дальнейшее усиление сексуальной распущенности. Старшие стали более критично оценивать даже свою борьбу за сексуальное освобождение против жестких запретов и табу традиционного общества, настаивавшего на том, что местом секса является только супружеская спальня. Конечно, не их вина, что они не сумели предусмотреть, к чему приведет чрезмерное расширение территории сексуальности.

Парадокс состоит в том, что секс, перешагнув свои прежние пределы, став практически безграничным, растворился и почти исчез.

Его концентрация, консервирование в определенных гетто, откуда он выпускался в определенное время, были источником его концентрированной силы, которая в основном переприсваивалась культурой для своих целей. Сегодняшнее безбрежное распространение сексуальности мало общего имеет с сублимацией, как ее понимал Фрейд. Сексуальная энергия, по его мнению, накапливается как напряжение между Двумя противоположными полюсами. Для нее необходимы как влечение, так и запрет. Последние годы прошли под знаком сексуального освобождения, в борьбе против излишне жестких запретов. Постепенно стали осознавать репрессивную роль самих различений. Если первоначально борьба протекала в рамках признания противоположности и речь шла об эмансипации женщин в мужском обществе, то постепенно пришли к пониманию того, что проблемы между мужчинами и женщинами во многом моделируются культурой. Поэтому речь пошла не просто о перераспределении господства в отношениях между полами, а о преодолении жесткого и жестокого различения между мужчинами и женщинами. От слишком сурового идеала мужественности страдали не только женщины, но и прежде всего мужчины. Они тоже стали покидать ряды суровых самцов, рожденных властвовать, и таким образом пополнять считавшиеся ранее неполноценными сексуальные меньшинства. Но было бы несправедливо считать неофитов «гомиками», может быть не совсем справедливо причисляемых ранее к клиническим больным. Если открыть психиатрические труды, например небезызвестного Крафта-Эббинга, то перед нами предстанет галерея величественных половых психопатов, которые непрерывно думали о сексе и занимались им, как только представлялась возможность. Современные секс-звезды не имеют ничего общего с этими «натуралами». Корреспондентка, которая брала интервью у Джигарханяна, считавшегося зрелыми дамами советского общества секс-символом, призналась, что несколько побаивалась интервьюируемого. Может быть, это свидетельствует только об ее собственных ожиданиях, так как она была разочарована признанием великого артиста в том, что он вовсе не всегда думает только о женщинах и что у него есть вполне банальные интересы? Общество жестоко и требует, чтобы его символы вели некую воображаемую ими яркую жизнь и особенно много любили, пили и ели. Оно не прощает банальности и не хочет признать, что не страсть к наркотикам и женщинам, а, например, рыбалка или иное хобби интересуют героя гораздо больше, чем предмет озабочености публики.

Итак, есть клинические больные, например гермафродиты, закомплексованные интеллигенты начала века, секс-звезды 60-х годов, которые демонстрировали ничем не ограничиваемый секс, и, наконец, современные транссексуалы.

Последние пугают прежде всего количеством.

В конце концов для демонстрации опасного или вожделенного секса не нужно много людей.

Транссексуалы же собираются на огромные манифестации и устраивают широкомасштабные шествия. В этом видят опасный признак расширения болезни. Но на самом деле современные транссексуалы вовсе не похожи ни на персонажей Крафта-Эббинга, ни на плейбоев 60-х годов.

Они вообще сексуально индифферентны.

Они являются по сути своей воплощением вековой мечты человечества, безуспешно боровшегося с полом, с влечением, считавшимся опасным, дьявольским или природным. Соответственно одному из этих определений выстраивалась стратегия управления телом. Например, греки противопоставили темному дионисийскому началу гимнастику, диетику, эротику и другие методы самоконтроля и сдержанности.

Христиане объявили эротическое влечение греховным и пытались бороться с ним аскетическими методами, от которых желание, кажется, только усиливалось. Наконец, медицина пред приняла широкомасштабную попытку дискурсивизации и нейтрализации секса. Но все эти меры не только подавляли естественную, но и интенсифицировали некую искусственную сексуальность, сублимированная энергия которой использовалась культурой. Транссексуалы беспокоят тем, что нейтрализуют противоположность дозволенного и недозволенного, они не только не чрезмерны, как этого опасаются многие защитники традиционного секса, они вообще индифферентны.

Кажется, сбылась мечта христианских проповедников и школьных учителей. Дамаскин полагал, что после смерти люди воскреснут, но им будет дана новая плоть. Старое тело было главным источником страданий и несчастий человечества.

Юное прекрасное женское тело вызывало вожделение у мужчин и часто приводило к эксцессам. Аналогичным образом мужское тело становилось причиной соперничества у женщин. Избавление от полового диморфизма, считал Дамаскин, стало бы основой новой жизни.

Кажется, эта революция, наконец, совершилась.

Транссексуалы — эти новые Франкенштейны — путем аэробики, косметики, химии и медицины создали себе новое искусственное тело-протез, которое лишено явных половых признаков. Но дело не только в создании нового чистого, невинного как у ребенка «тела без органов». Настоящее значение сексуальной революции, результатом которой стало появление транссексуалов, состоит в радикальном изменении сознания, включая общественное бессознательное.

Индифферентность проникает прежде всего на уровень желаний и ведет к их угасанию.

Это и вызывает самые серьезные опасения.

Поскольку общество всегда стремилось регулировать и контролировать секс, то непонятно, на чем теперь будет основана его стратегия.

В этом состоит наиболее радикальное значение транссексуальной революции. Поэтому одной из важных проблем оказывается рефлексия по поводу сетей порядка, которые организуют новую генерацию. Возможно, их сообщество окажется лучше, чем прежнее, основанное на различии и взаимном влечении полов. Во времена Августина проповедь безбрачия натыкалась на необходимость воспроизведения жизни. Но сегодня эта трудность решается медициной.

Современное сексуальное тело разделяет судьбу искусства. И эта судьба называется транссексуальность, не в анатомическом понимании, но в смысле трансвестивности, игры смешения половых признаков (в противоположность прежнему обмену мужского на женское), основанной на сексуальной индифферентности, изменении пола и равнодушии к сексу как наслаждению.

Прежде сексуальное было связано с наслаждением, и это стало лейтмотивом освобождения.

Транссексуальное характеризуется тем, что в отношениях полов речь идет об игре знаками формы, жестов и одежды. Будь то хирургические (пересадка и изменение органов) или семиургические (перекодировка знаков в процессе моды) операции, речь идет о

протезах.

Сегодня судьба тела состоит в том, чтобы стать протезом. Весьма логично, что модель транссексуальности повсюду занимает ведущее место.

Как потенциально биологические мутанты, все мы потенциальные транссексуалы. Но речь не о биологии. Мы — транссексуалы прежде всего символические. Посмотрим на Чиччолину.

Она является великолепной порнографической инкассацией пола. Ей можно противопоставить Мадонну, которая свою врожденную женскую способность к вынашиванию ребенка превратила посредством аэробики — этого идола нового синтеза — в мускулистую андрогинность, не лишенную эстетики и шарма. Почему же Чиччолина не транссексуал? Ее длинные платиновые волосы, ее великолепная грудь, эти идеальные кукольные формы, глубокая и таинственная эротика комиксов или научных фикций и прежде всего преувеличенно сексуальный дискурс (но не перверсия и не либертинаж), — тотальный переход, не дающий в руки ключа. Подобно идеальной женщине, шепчущей по телефону плотские эротические речи, как ни одна женщина сегодня, она взрывает всякую транссексуальность и трансвестивность: только она и делает живыми влекущие к плоти знаки сексуальности. Но благодаря масс-медиа эротическая плазма Чиччолины соединяется с искусственным нитроглицерином Мадонны или с андрогинным франкенштейнообразным Майклом Джексоном. Все они мутанты генетической породы барокко.

Возьмем Майкла Джексона. Он является наиболее редкостным мутантом. Совершенная и универсальная смесь: новая раса, в которой соединяются все расы. Сегодняшние дети уже не имеют предубеждений против метисизации общества: оно видится ими как универсальное, и отсюда преимущество Майкла Джексона, возвещающего новое будущее. Он создал себе новый облик, осветлил кожу и перекрасил волосы, создал из себя подобие невинного, чистого ребенка: искусственное андрогинное существо, управляющее миром подобно очеловечившемуся Иисусу Христу, Он даже более совершенен, чем божественный сын: ребенок-протез, эмбрион разнообразных мутантных форм, которые были порождены разными расами, живущими на Земле. Мы все андрогины искусства и секса, мы не имеем больше никаких эстетических или сексуальных преимуществ. Так исполняется вековая мечта о воплощении после смерти, когда, по Дамаскину, будет дано новое тело: ни женское, ни мужское, ни старое, ни молодое.

Миф о сексуальном освобождении живет в реальности в разнообразных формах, но в воображении доминирует транссексуальный миф, включающий своеобразную игру андрогина и гермафродита. После оргии сексуальной революции появился трансвестит. После жадного распространения всяких эротических симулякров наступил транссексуальный кич во всем блеске. Постмодернистская порнография в результате своего театрального распространения утратила амбивалентность. Вещи меняются и, будь то секс или политика, становятся частью субверсивного проекта: если Чиччолина в итальянском парламенте представляла собой нечто неординарное, то потому, что транссексуальное и трансполитическое являются в повседневности ироническими индифферентностями. Этот еще недавно немыслимый успех доказывает, что не только сексуальная, но и политическая культура оказалась на стороне трансвеститов.

Целый ряд, престижных профессий современного общества предполагает для претендентов смену «натуральных» сексуальных ориентации.

Эта стратегия стирания с тела знаков пола, изгнания наслаждения посредством его инсценировки гораздо более действенна, чем старое доброе подавление или запреты. В противоположность им больше не признается тот, кто их профилирует, так как всякий подлежит без исключения этой стратегии. Режим трансвестивности становится порядком нашей повседневности, которая прежде была основана на поисках тождества и дифференциации. Мы уже не имеем времени искать в архивах памяти или в проектах будущего идентичность. В качестве инстанции идентичности выступает публичность, которая мгновенно верифицируется.

Этот путь нездоровый, хотя он направлен на состояние равновесия, ибо предлагает некое гигиеническое идеальное состояние.

Так как собственная экзистенция не является больше аргументом, остается жить явлениями: конечно, я — существую, я — есть, но при этом я — есть образ, воображаемое. И это не просто нарциссизм, но некая внешность без глубины, когда каждый сам становится импрессарио собственного облика. Этот внешний облик подобен видеоклипу с небольшим разрешением, который вызывает не удивление, а специальный эффект. Это даже не мода, которая нацелена на подчеркивание необычного, ибо перечеркивает ее. Современный облик не опирается на логику различия, он не строится на игре дифференциации, он сам играет ею, без веры в нее. Он индифферентен, предлагает себя здесь и сейчас, а не завтра и потом; это разволшебствование маньеризма, мир без манер.

Стратегия сексуального освобождения стремилась к максимальному осуществлению эротической ценности тела, что проявилось в дискурсах о женщинах и наслаждениях и стало переходной фазой к конфликту полов. Так и сексуальная революция стала этапом на пути к транссексуальности. В этом проявляется проблематическая двойственность всяких революций.

Кибернетическая революция показала амбивалентность мозга и компьютера и поставила радикальный вопрос: кто я — человек или машина?

Дальнейшее продолжение следует с революцией в биологии: кто я — человек или клон? Сексуальная революция в ходе виртуализации наслаждения ставит столь же радикальный вопрос: кто я — мужчина или женщина?

Политические и социальные революции, прототип всех остальных, поднимают вопрос об использовании собственной свободы и своей воли и последовательно подводят к проблеме: в чем, собственно, состоит наша воля, чего хочет человек, чего он ждет? Вот поистине неразрешимая проблема! И в этом парадокс революции: ее результаты вызывают неуверенность и страх. Оргия, возникшая вслед за попытками освобождения и поисками своей сексуальной идентичности, состоит в циркуляции знаков. Но она не дает никаких ответов относительно проблемы идентичности. Мы стали транссексуалами, как мы стали трансполитическими, политически индифферентными, андрогинными и гермафродитными существами, которые включают в себя разнообразные идеологии, мы носим, снимаем и одеваем различные маски, без того чтобы иметь в голове четкое знание о сексуальном и политическом.

Б. В. Марков

Забыть Фуко

Письмо Фуко совершенно, поскольку само движение текста великолепно демонстрирует то, что этот текст предлагает: генеративную спираль власти — уже не деспотичное построение, но непрерывное разветвление, свертывание, строфу, развертывающуюся все шире и строже, без истока (и катастрофы); а с другой стороны, все заполняющую текучесть власти, пропитывающую пористую ткань социального, ментального и телесного, едва ощутимую модуляцию технологий власти (где безнадежно перепутаны отношения силы и соблазна). Все это *непосредственно читается* в дискурсе Фуко (который также является дискурсом власти): он заполняет, обволакивает, насыщает открываемое им пространство, мельчайшие определения проникают в мельчайшие зазоры смысла, предложения и главы закручиваются в спираль, а удивительное искусство смещения позволяет открывать но вые пространства (пространства власти, пространства дискурса), которые тотчас же покрываются его кропотливым письмом. Ни пробела, ни фантазма, ничего непредвиденного: текучая объективность, нелинейное, движущееся по кругу, безупречное письмо. Смысл никогда не превосходит того, что о нем сказано: никакого головокружения, и

в то же время он никогда не плавает в тексте, слишком просторном для себя: никакой риторики.

Короче говоря, дискурс Фуко — зеркало тех стратегий власти, которые он описывает.

В этом, а не в «коэффициенте истины» состоит его сила и соблазн; истина — его лейтмотив, но сами процедуры истины не имеют значения; дискурс Фуко обладает не большей истиной, чем любой другой, а его сила и соблазн заключены в анализе, который раскрывает тончайшие грани своего объекта, описывая его с тактильной и в то же время тактической точностью, где аналитическая сила поддерживается силой соблазна и сам язык производит новые виды власти. Такова описанная Леви-Стросом символическая эффективность действия мифа — вот почему это не дискурс истины, а в полном смысле слова мифический дискурс, и я полагаю, что внутри себя он не испытывает иллюзий относительно того эффекта истины, который производит.

Впрочем, как раз этого и недостает тем, кто, следуя за Фуко, обходит эту мифическую схему и остается с истиной, одной только истиной.

Само совершенство этой аналитической хроники власти заставляет задуматься. Что-то в тончайших гранях, в противовесе этого письма, слишком красивого, чтобы быть истинным, подсказывает нам, что если наконец и появилась возможность говорить о власти, о сексуальности, о подчинении с таким исчерпывающим знанием дела вплоть до самых неуловимых метаморфоз, то значит, *все это отныне и навсегда уже закончилось,* и Фуко только потому и способен создать такую восхитительную картину, что действует в пре делах той отходящей в прошлое эпохи (может быть, именно той «классической эры», последним динозавром которой он и был). Такое положение вещей располагает к самому блестящему анализу, термины которого еще не утратили силу. «Когда я говорю о времени, его уже нет», — сказал Аполлинер. А что, если все красноречие Фуко в отношении власти (причем, не надо забывать, что он использует *реальные* , объективные термины, разнообразные множества, которые не ставят под сомнение объективную точку зрения, принимаемую исходя из них), власти бесконечно малой и распыленной, *принцип реальности* которой тем не менее не подвергается сомнению) возможно лишь потому, что власть мертва; дело не просто в рассеивании власти, а в том, что она полностью, пока еще непонятным для нас образом, растворилась, обратившись в свою противоположность, самоустранилась или обрела гиперреальность в симуляции, неважно, но что-то произошло на уровне власти, что Фуко не может уловить изнутри своей генеалогии; для него не существует конца политики, существуют только ее метаморфозы: превращение деспотического общества в дисциплинарное, а затем в микроклеточное, в соответствии с тем же процессом, который протекает в физических и биологических науках. Это огромный прогресс, касающийся того воображаемого власти, которое нами владеет, — но ничего не меняется в отношении *аксиомы* власти: ей не отделаться от собственной тени, то есть от своего обязательного определения в терминах *реального* функционирования. Таким образом, власть по-прежнему обращена к принципу реальности и к достаточно сильному принципу истины, к возможной связи политики и дискурса (власть уже не относится к деспотическому строю запрета и закона, но все еще относится к объективному строю реального), и только так Фуко может описать нам последовательные спирали власти, последняя из которых вынуждает его отыскивать ее мельчайшие окончания, хотя сама власть всегда остается термином, так что не возникает вопроса об ее уничтожении.

А что, если все красноречие, с которым Фуко говорил нам о сексуальности (в конце концов, это *аналитический* дискурс о сексе, не захваченный пафосом секса и сохраняющий текстуальную ясность дискурсов, которые *предшествуют открытию бессознательного* и которые не нуждаются в вымогательстве сокровенного, чтобы сказать то, что они должны сказать), объясняется лишь тем, что сама сексуальность, это великое *производство* нашей культуры (и оно тоже), как и власть, близится к исчезновению? Секс, подобно человеку или социальному, имеет свой срок. И что, если эффект реальности секса, присутствовавший на горизонте дискурса сексуальности, начал постепенно, но неотвратимо исчезать, уступая

место другим симулякрам,[5] увлекая за собой великие референты желания, тела, бессознательного, — все, что сегодня слилось в один, столь мощно звучащий речитатив?

Вывод о грядущей смерти секса следует из самой гипотезы Фуко. Психоанализ, который, как нам кажется, открывает золотой век секса и желания, возможно, выводит их на всеобщее обозрение, прежде чем они полностью обратятся в ничто. В известном отношении психоанализ кладет конец бессознательному и желанию, так же как марксизм кладет конец классовой борьбе, поскольку гипостазирует классы и роет им могилу в своем теоретическом проекте. Теперь мы достигли желания в дискурсе о сексе, который не является самим собой, в котором удвоение знаков секса маскирует неопределенность и глубинную разгрузку: господствующий лозунг сексуального становится теперь равноценным инертной сексуальной среде.

С сексом дело обстоит так же, как и с политикой:

«Вы помните, в 68-м, нужны были забастовки и баррикады, речи и камни, чтобы стали признавать, что *все — политика.* Распространение порнографии, которое, в ответ на запреты, будет только усиливаться, заставит их увидеть, что *все — сексуальность»* (Арт Пресс, номер о порнографии). В этом двойной абсурд (все — политика, все — сексуальность): параллельный абсурд двух лозунгов, выдвинутых в то самое время, когда политика перестает существовать, когда сам секс регрессирует и исчезает в качестве устойчивого референта в гиперреальности «освобожденной» сексуальности.

Если, как говорит Фуко, буржуазия использовала секс и сексуальность, чтобы наделить себя исключительным телом и авторитетной истиной, а затем под видом истины и стандартной судьбы навязать их остальному обществу, то не исключено, что этот симулякр — плоть от плоти буржуазии, и что он исчезнет вместе с ней. Оставаясь верным классическому определению секса, Фуко не в состоянии проследить эту новую спираль симуляции сексуального, где секс обретает вторую жизнь и присваивает себе очарование утраченного референта[6] (являющегося всегда только связью, которую данное положение вещей сообщает *мифу* бессознательного). Даже если Фуко и придает сексу форму дискурса, такая конфигурация имеет свою внутреннюю устойчивость, и, как власть, имеет знак позитивности.

Дискурс дискурсом, но действия, стратегии, махинации, которые здесь разыгрываются, реальны: истеричная женщина, извращенец, мастурбирующий ребенок, эдипальная семья.

Все эти реальные исторические механизмы, машины не были подделкой — не более чем «желающие машины» в их строе либидинальной энергии — все они реально существовали, и справедливо то, что *они были подлинными.* Но Фуко ничего не говорит нам о тех машинах симуляции, которые удваивают каждую из этих «подлинных» машин, о том великом механизме симуляции, который возрождает все эти устройства на новом витке спирали, поскольку взгляд Фуко прикован к классической семиургии власти и секса. Он не видит неистовой семиургии, овладевшей симулякром.

Может быть, эта спираль, стирающая все другие, — только новая форма желания или власти, но это мало правдоподобно, поскольку она разлагает весь дискурс. Барт сказал о Японии: «Сексуальность там существует в сексе и больше нигде. В Соединенных Штатах

---

[5] Симулякр (лат. simulacrum) — подобие, видимость — одно из ключевых понятий постмодернистской французской философии, возникшее в связи с проблемой различия и тождества, соотношение копии и оригинала. Симулякр — это фантом сознания, кажимость, то, что воспроизводит образ объекта вне его субстанциональных свойств. Примеч. перевод.

[6] Возможно, что порнография и существует только для того, чтобы воскресить это утраченное референциальное, чтобы — от противного — доказать своим гротескным гиперреализмом, что где-то все-таки существует подлинный секс.

сексуальность существует повсюду, кроме секса». А что, если секса больше не существует в самом сексе? Без сомнения, сексуальное освобождение, порнография и т. д. - все это свидетельствует, что мы присутствуем при агонии сексуального разума. И Фуко дает к нему ключ как раз тогда, когда это уже не имеет значения. То же можно сказать и о книге «Надзирать и наказывать», о ее теории дисциплины, паноптики и прозрачности. Превосходная, но уже отошедшая в прошлое теория.

Теория контроля через объективизирующий взгляд, даже если он размельчен до уровня микроустройств, отошла в прошлое. Без сомнения, механизм симуляции так же далек от стратегии прозрачности, как эта последняя — от непосредственной и символической операции наказания, описанного Фуко. И вновь отсутствует тот самый виток, перед которым Фуко странным образом останавливается на пороге настоящего революционного преобразования системы, который он никогда не стремился переступить.

Можно было бы много сказать о главном тезисе книги: подавления секса никогда не существовало, а напротив, существовало предписание о нем говорить, высказываться, существовало принуждение к признанию, к выражению, к *производству* секса. Подавление — это только западня, только алиби, которое скрывает то, что всей культуре предписан сексуальный императив. Предположим, мы согласны с Фуко (заметим только, что этому «предписанию» нечего делить со старым добрым «подавлением»: да и какая разница, подавление или другое «введенное» слово — все это лишь вопрос терминологии), что тогда остается от главной идеи книги?

А вот что: негативная, реакционная, трансцендентная концепция власти, основанная на запрете и законе, замещается концепцией позитивной, активной, имманентной, и это самое важное. Можно только поражаться совпадению этой новой концепции власти с новой концепцией желания, предложенной Делезом или Лиотаром: не нехватка или запрет, а диспозитив, позитивное рассеивание потоков или интенсивностей. Совпадение это не случайно:

«дело в том, что у Фуко власть занимает место желания». Она присутствует там точно так же, как у Делеза и Лиотара — желание: власть, очищенная от всей негативности, всегда уже здесь, она — сеть, ризома, преломляемая до бесконечности смежность.

Вот почему Фуко не говорит о желании: его место уже занято (если посмотреть на дело иначе, то можно, наоборот, задаться вопросом, не является ли желание или то, что соответствует ему в шизоанализе и теории либидо — анаморфозой некоей власти, характеризующейся той же имманентностью, той же позитивностью, теми же расходящимися во все стороны структурами; и более того, можно даже задуматься, не подменяют ли желание и власть друг друга от одной теории к другой, в бесконечном умозрении, в игре зеркала, которая нам кажется игрой истины).

Очевидно, что по сути эти две теории чуть ли не настоящие близнецы, они синхронны и изохронны в своем «механизме» *(dispositif)* (термин, который дорог им обеим), они движутся одним и тем же путем, поэтому так легко взаимозаменяются (см. статью Делеза о Фуко в номере «Критик» (дек. 75), уже сейчас порождая все те субпродукты — «наслаждение властью», «желание капитала» и т. д., - которые являются точными копиями субпродуктов предшествующего поколения: «жела ние революции», «наслаждение безвластием» и т. д. Дело в том, что в те времена для последователей Райха и фрейдо-марксистов желание и власть находились по разные стороны баррикад; сегодня микрожелание (власти) и микрополитика (желания) буквально совпадают в механистических границах либидо, стоит только низвести их на микроуровень.

Спираль, которую предлагает Фуко такова: власть / знание / наслаждение (он не решается сказать власть / знание / *желание* , ведь речь здесь идет именно о желании, о целой теории желания). Фуко — часть этого молекулярного сплетения, намечающего уже очевидную истерию будущего: он способствовал тому, чтобы власть функционировала тем же образом, что и желание, точно так же как у Делеза желание функционирует в качестве будущих форм власти. Эта тайная связь слишком красива, чтобы не вызывать подозрений, но

в ее интересах казаться совершенно невинной.

Когда власть становится желанием, когда желание становится властью, тогда давайте забудем о них обоих.

Что касается гипотезы подавления, было бы неплохо радикально опровергнуть ее, но только не в упрощенном варианте последней.

Собственно, Фуко отвергает, что подавление секса было направлено на перекачивание всех энергий в сферу материального производства.

На основании этого можно было бы легко прийти к выводу, что пролетарии должны были быть первыми, кто испытал это подавление на себе, тогда как история показывает, что в первую очередь это произошло с привилегированными классами. Отсюда вывод: гипотеза подавления не выдерживает критики.

Но действительный интерес представляет гипотеза, простирающаяся за горизонт фабрик и охватывающая одновременно весь горизонт сексуальности. О чем бы ни шла речь: об освобождении производительных сил, освобождении энергии или дискурса о сексе — это поле одного и того же сражения, все то же движение по пути более мощной и дифференцированной социализации. Иными словами, подавление, в своем крайнем понимании, это никогда не подавление секс а во имя чего бы то ни было, но подавление посредством секса, это расстановка дискурсов тел, энергий, институтов, производимая сексом во имя «говорящего секса». И подавленный секс только лишь скрывает подавление сексом.

Производственная цепочка ведет от труда к сексу, но как бы переходя на другой уровень; по мере того, как мы двигаемся от политической экономии к либидинальной (последний опыт 68-го), мы переходим от насильственной и архаичной модели социализации труда к более подвижной и одновременно более «психичной» модели, которая в большей мере приближена к телу (сексуальной и либидинальной).

Это метаморфоза и поворот от власти труда к влечению, поворот от модели, в основе которой лежит система презентаций (знаменитая «идеология») к модели, действие которой основано на системе аффекта (секс, являющийся только своего рода анаморфозой категорического социального императива). Перед этими дискурсами (так как речь идет именно о дискурсе) встает, в буквальном смысле слова, один и тот же ультиматум *производства* .

Первоначально слово «производство» означало не материальное изготовление, а скорее «делать видимым», «показывать» или «предъявлять»: про-изводить *(pro-ducere).*

Секс производится, подобно тому, как производится документ, или как об актере говорят, что он «выводит» свою роль на сцене. Производить — значит насильственно материализовать то, что относится к другому порядку, к порядку тайны и соблазна. *Соблазн* - это то, что всегда и везде противостоит *производству* , соблазн изымает что-то у строя видимого, он направлен против производства, которое занято тем, чтобы делать очевидным, неважно, идет ли речь об очевидности вещи, цифры или понятия. Все должно производиться, прочитываться, становиться реальным, видимым, отмечаться знаком эффективности производства, все должно быть передано в отношениях сил в системах понятий или количествах энергии, все должно быть сказано, аккумулировано, все подлежит описи и учету: таков секс в порнографии, но таков, шире, проект всей нашей культуры, «непристойность» которой — ее естественное условие, культуры показывания, демонстрации,

«производственной» монструозности (одной из форм которой является «признание», так хорошо проанализированное Фуко). Внутри всего этого, как и в порнографии, соблазн никогда не находит себе места, поскольку речь идет о непосредственном производстве актов, хищной актуальности удовольствия; никакого соблазна нет в этих телах, пронизываемых взглядом, который буквально всасывается пустотой прозрачности. Но и тени соблазна нет в универсуме производства, управляемом принципом прозрачности всех сил, как видимых и исчисляемых феноменов: вещей, машин, сексуальных актов или валового национального

продукта.

Порнография — это только парадоксальный предел сексуального: реалистическое усиление и маниакальная одержимость реальным и есть «обсценное» в этимологическом и во всех остальных смыслах этого слова. Но разве само сексуальное уже не насильственная материализация, разве пришествие сексуальности уже не составляет части западного понятия реального — одержимости нашей культуры, которая все превращает в инстанции и инструменты?

Точно так же абсурдно выделять в других культурах религиозное, экономическое, политическое, юридическое, а также социальное и другие фантасмагорические категории, потому что они там отсутствуют, и инфицировать эти культуры, словно венерическими заболеваниями, подобными понятиями, чтобы лучше «понять»; поэтому не менее абсурдно представлять сексуальное в виде автономной инстанции и непреодолимой «данности», к которой мы можем свести все остальное. Мы нуждаемся в критике сексуального разума или, скорее, в генеалогии сексуального разума, вроде той генеалогии морали, которую создал Ницше, ибо это наша новая мораль.

О сексуальности можно сказать то же самое, что и о смерти: «Это складка, с которой наше сознание свыклось не так давно».

В этих культурах, которые нам не понятны или вызывают определенное сочувствие, сексуальный акт не имеет цели как таковой, а сексуальность не лишена нашего убийственно серьезного отношения к высвобождению энергии, к принудительной эякуляции, к производству любой ценой или телесной гигиене тела. В этих культурах, поддерживающих длительные процессы соблазна и чувственности, сексуальность — услуга наряду с прочими, длительная процедура дара и ответного дара, тогда как любовный акт — только возможный исход этого взаимного обмена, совершаемого согласно неизменному ритуалу.

Для нас это уже не имеет никакого смысла — для нас *сексуальное стало исключительно актуализацией желания в удовольствии,* все прочее — «литература»: такова особая кристаллизация оргазменной функции, которая сама есть материализация энергетической субстанции.

Мы — культура поспешной эякуляции. Все больше и больше любой соблазн, любой способ соблазнения, который является сам высоко *ритуализованным* процессом, уступает место *натурализованному* сексуальному императиву, требованию немедленной реализации желания.

Наш центр тяжести действительно сместился к бессознательной и либидинальной экономии, оставляющей место только тотальной натурализации желания, которое обречено на то, чтобы разделить участь влечений, или на простое механическое функционирование, но прежде всего на воображаемое подавления и освобождения.

Отныне больше не говорят:

«У тебя есть душа, и ты должен ее спасти», — но говорят так:

«У тебя есть пол, и ты должен знать, как его правильно использовать»;

«У тебя есть бессознательное, и ты должен научиться его освобождать»;

«У тебя есть тело, и ты должен научиться им наслаждаться»;

«У тебя есть либидо, и ты должен знать, как его расходовать», и т. д.

Это принуждение к ликвидности, к перетеканию, к ускоренному обращению психического, сексуального и телесного — точная копия того, что определяет рыночную стоимость; необходимо, чтобы капитал пребывал в обращении, чтобы сила тяжести и вообще любая фиксированная точка исчезли, чтобы цепочка инвестиций и реинвестиций не прерывалась, чтобы стоимость без конца изучалась во всех направлениях; именно в этой форме сегодня воплощается стоимость. Это форма капитала, а сексуальность, лозунг сексуального и сексуальная *модель* - только образ, в котором она реализуется на телесном уровне.

Кроме того тело, к которому мы беспрерывно обращаемся, не имееет другой реальности, кроме реальности сексуальной и производственной модели. Именно капитал в

одном и том же движении порождает как энергетическое тело рабочей силы, так и тело, о котором мы грезим сегодня как о месте желания и бессознательного, как о святилище психической энергии и влечения, тело, которое охвачено влечениями, которое неотступно преследуют первичные процессы, тело, само ставшее первичным процессом и благодаря этому антителом, последним революционным референтом.

Обе эти модели одновременно зарождаются в подавлении, и их кажущийся антагонизм — просто еще один эффект подавления. Поэтому заново открыть в тайне тел свободную «либидинальную» энергию, противостоящую связанной энергии производственных тел, заново открыть в желании фантазматическую и основанную на влечении истину тела — значит просто-напросто получить психическую метафору капитала.

Таково желание, и таково бессознательное: шлаки политической экономии, психическая метаморфоза капитала. А юрисдикция секса — это идеальный способ в качестве фантастического продолжения юрисдикции частной собственности вверить каждому в управление определенный капитал: психический, либидинальный, сексуальный, бессознательный — и каждому придется отчитываться перед самим собой, когда речь зайдет об его освобождении.

Это (вопреки самому себе) и говорит нам Фуко: ничто не действует по принципу репрессии, все действует по принципу производства — ничто не действует по модели подавления, все действует по модели освобождения.

Но это *одно и то же* . Любая форма освобождения провоцируется подавлением: как освобождение производственных сил, так и освобождение желания, как освобождение тела, так и освобождение женщин и т. д. Логика освобождения не знает исключения: любая сила, любая освобожденная форма дискурса создают новый виток в спирали власти. Вот так «сексуальному освобождению» удается чудесным образом объединить в одном и том же революционном идеале два главных эффекта подавления: освобождение и сексуальность.

Исторически этот процесс складывался по меньшей мере на протяжении двух веков, но сегодня, с благословения психоанализа, он достиг высшей точки — так же, как взлет политической экономии и производства произошел только с санкции и благословения Маркса.

Это положение вещей господствует сегодня повсюду, даже в «радикальной» критике Маркса и психоанализа.[7]

Рождение сексуальности и сексуального дискурса, подобно рождению клиники и клинического взгляда, произошло там, где *до этого не существовало ничего,* кроме

---

[7] *Политическая* критика Маркса (вскрывающая бюрократическую перверсию революции революционными партиями, экономическую и инфраструктурную перверсию классовой борьбы и т. д.) сводится — поскольку это критика частичная — к генерализации аксиоматики производства (производительность как дискурс тотальной референции).

Это возвеличивание марксизма в самом чистом виде.

Эдипальная критика психоанализа (Делез и проч.) — критика перверсии желания означающим, законом, кастрацией и эдипальной моделью опять же, являясь частичной критикой, — только возвеличивает аксиоматику желания и бессознательного в ее наиболее чистой форме.

Именно так в единственном сегодня «революционном» лозунге — лозунге «производительности» «желания» — сходятся очищенные аксиомы марксизма и психоанализа.

«Желающая машина» только исполняет в одном движении позитивную судьбу марксизма и психоанализа.

Наконец, они объединяются под покровительством менее наивным, чем покровительство Райха, в котором еще слишком много эдипова комплекса и пролетариата, подавления и классовой борьбы. Райх слишком рано поставил целью синтез двух дисциплин, исторической и психической, которые еще были слишком загромождены множеством обременительных элементов: его смесь архаична и интерпретация не выдерживает критики — времена еще не созрели. Но сегодня, на основе производительности, очищенной от ее противоречий, ее исторических целей и ее определений, а также либидо, очищенного от эдипова комплекса, подавления и его слишком генитальных, слишком семейных *определений* можно, наконец, достигнуть соглашения и синтеза к выгоде одной и другой стороны: зеркало производства и зеркало желания смогут бесконечно отражаться друг в друге.

неконтролируемых, безумных, неустойчивых или же высокоритуализованных форм, где не *существовало подавления* - этого сквозного лейтмотива, который служит для нас критерием оценки всех предшествующих обществ еще в большей степени, чем нашего (мы признаем их примитивными с технологической, но главным образом с сексуальной точки зрения: в этих обществах действовало «подавление», а не «освобождение», они даже понятия не имели о бессознательном, но вот психоанализ явился расчистить путь сексу и сказать то, что было скрыто — таков невероятный расизм истины, евангелический расизм психоанализа: все меняется с пришествием Слова). Если вопрос (существует подавление или нет) для нашей культуры неразрешим, то в других он не имеет этой двусмысленности: другие культуры не знают ни подавления, ни бессознательного, потому что не знают сексуального. Мы же полагаем, что сексуальное было «подавлено» там, где оно не явлено, — это наш способ спасать секс за счет принципа секса, это наша мораль (психическая и психоаналитическая), скрывающаяся за гипотезой подавления, и является причиной нашего ослепления. Говорить о «подавленной» или «не подавленной», «сублимированной» или «не сублимированной» сексуальности в феодальных, крестьянских и примитивных обществах — свидетельство величайшей глупости, так же как реинтерпретировать религию как идеологию и мистификацию.

И именно исходя из этого, можно повторить вслед за Фуко: не существует и *никогда не существовало подавления в нашей культуре,* однако под этим, в отличие от последнего, мы понимаем, что никогда не существовало сексуальности. Сексуальность, как и политическая экономия, только монтаж (все ухищрения которого анализирует Фуко), то, какой сексуальность нам предстает в дискурсе, какой она «выговаривает-ся», и даже какой она является в безличном «Оно говорит» — это только симулякр, которому, как в любой системе, практики всегда шли наперекор, от которого они отклонялись, который они превосходили.

Устойчивость и прозрачность *homo sexualis* всегда были не более реальными, чем устойчивость и прозрачность *homo oeconomicus.*

Длительный процесс ведет одновременно к утверждению психического и сексуального, к утверждению «другой сцены» фантазма и бессознательного, и одновременно к энергии, которая должна при этом производиться; эта психическая энергия является лишь прямым эффектом сценической галлюцинации подавления, она галлюцинируется в качестве сексуальной субстанции, а затем будет подвергнута метафоризации и метонимизации в соответствии с топическим, экономическим и прочими инстанциями, в соответствии с модальностями вторичного, третичного и т. д. подавления — таково восхитительное здание психоанализа, самая прекрасная галлюцинация внутреннего мира, как сказал бы Ницше.

Какой необыкновенной эффективностью обладает эта модель энергетической и сценической симуляции — какая необыкновенная теоретическая психодрама представлена в этой постановке psyche, в этом образе секса как инстанции, как вечной реальности (так же, как в других теориях гипостазировано производство как родовое измерение или движущая энергия). Неважно, что именно несет расходы за постановку: экономика, биология или психика, неважно, обращаемся ли мы к «сцене» или «к другой сцене»: важен сценарий, мы должны усомниться во всем психоанализе, как в модели симуляции.

В этом производстве любой ценой, в этом современном таинстве секса заключается такой терроризм, такая стратегия уничтожения, что кажется непонятным, почему бы, если только не ради красоты парадокса, не увидеть здесь подавления. Или, может быть, дело в том, что этот термин недостаточно выразителен.

Фуко не хочет говорить о подавлении, но что же еще такое эта медленно развивающаяся и грубая ментальная инфекция секса, с которым в прошлом могла сравниться только инфекция души (см. у Ницше — инфекция секса, это, впрочем, только историческое и ментальное возвращение инфекции души под знаком материалистического второго пришествия).

По правде говоря, спорить о словах бесполезно.

Можно сказать, предписание говорить о сексе — первично, а подавление — просто обходной маневр (вполне согласен, но тогда труд и эксплуатация — тоже не более чем обходной маневр и алиби других, более фундаментальных вещей); или: вытеснение — первично, а дискурс о сексе — только более современный его вариант («репрессивная десублимация»). По существу, обе гипотезы мало что меняют. В первой гипотезе (принадлежащей Фуко) главная проблема состоит в том, что если где-то и существовало подавление или, по крайней мере, эффект подавления (а этого нельзя оспаривать), то объяснить его невозможно. Почему воображаемое подавления необходимо для того, чтобы сохранить равновесие разным видам власти, если они живут за счет индукции, производства и вымогательства дискурса? Напротив, становится более понятным, почему дискурс, метаустойчивая система, следует за подавлением, которое не что иное, как неустойчивая система власти.

Если секс существует только как сказанное, выраженное в дискурсе, как признание, то что же существовало до того, как о нем заговорили? Какой разрыв создает этот дискурс о сексе и в отношении чего? Понятно, какие новые виды власти группируются вокруг него, но какая перипетия власти его порождает?

Что он нейтрализует, что он улаживает, что завершает[8] (а иначе, кто может претендовать на то, чтобы покончить с ним, как говорится на с. 213), «освободиться от инстанций секса»?). С какой бы стороны мы ни посмотрели на это, «заставить секс что-то означать» — не такое уж невинное предприятие, власть от чего-то отталкивается (в противном случае не было бы даже тех форм сопротивления, которые мы обнаруживаем на с. 127), она что-то исключает, разделяет, отрицает, чтобы у нее появилась возможность приступить к «производству реального», производить *реальность.* Только исходя из этого, можно понять новую — катастрофическую на этот раз — перипетию власти, заключающуюся в том, что ей не удается больше производить реальность, воспроизводить себя в качестве реального, открывать новые пространства принципу реальности, что она впадает в гиперреальность и улетучивается, а это — конец власти, конец стратегии реального.

Для Фуко не существует кризиса или перипетии власти, есть только модуляция, капиллярность, «микрофизическая» сегментарность власти, как говорит Делез. И это действительно так: власть у Фуко функционирует так же, как генетический код у Монода, согласно диаграмме дисперсии и управления (ДНК) и согласно *телеономическому порядку.* Конец теологической власти, конец телеологической власти, да здравствует телеономическая власть! Телеономия означает конец всякого окончательного определения и всякой диалектики: это что-то вроде имманентной, неотвратимой, всегда позитивной, кодовой записи программы развития, оставляющей место только бесконечно малым мутациям.

При пристальном рассмотрении власть у Фуко странным образом напоминает «концепцию социального пространства, столь же новую, как и концепция актуальных физических и математических пространств», как говорит Делез, неожиданно ослепленный благодеяниями науки. Именно эту тайную связь и следует осудить или высмеять. Сегодня все погрязли в молекулярном, равно как в революционном.

Однако пока не произошел новый поворот (а он может оказаться единственным),

---

[8] Согласно Фуко, этот разрыв кладет конец «телу и его удовольствиям», невинности либертинажа, ars erotica (откуда у нас сохранились некоторые слова: соблазн, очарование, чувственность, наслаждение, само «удовольствие», сладострастие, о котором мы больше не осмеливаемся говорить, — слова, которые ни сексу, ни психоанализу не удалось ни присвоить себе, ни дискредитировать их в своем дискурсе). Я думаю, что этот разрыв кладет конец чему-то более радикальному, тому положению вещей, при котором не только секс и желание, но и тело, и удовольствие не определяются как таковые, подобно тому как дискурс производства кладет конец режиму, в котором не существует не только меновой, но и потребительской стоимости.

Потребительская стоимость — это последнее алиби как в сексе, так и в производстве. И боюсь, что у Фуко «удовольствия» еще противопоставляются «меновой стоимости сексуального» только в той мере, в какой они представляют потребительскую стоимость тела (англ.).

истинная молекула — это не молекула форм революционного, а молекула Монода, молекула генетического кода, сложной спирали ДНК. Все же не следует заново открывать как механизм желания то, что кибернетики описали как матрицу кода и контроля.

Понятно, какая польза в том, чтобы выдвинуть тотальную позитивность, телеономию и микрофизику власти вместо старых финалистских, диалектических или репрессивных теорий, но следует осознать, к чему это приведет: к странному сообщничеству с кибернетикой, оспаривающей те же самые предшествующие схемы (Фуко, впрочем, не скрывает свою близость с Жакобом, Монодом, а в последнее время с Руффье *(«De la Biologie a la Culture»*).

То же самое можно сказать о молекулярной топологии желания у Делеза, в которой потоки и разветвления скоро совпадут, если уже не совпали, с генетическими симуляциями, микроклеточными образованиями и случайными пролаганиями пути операторов кода.

В книге «Кафка» Делеза и Гваттари трансцендентный Закон, закон Замка противопоставлен имманентности желания в смежных канцеляриях.

Но как же не видеть, что у закона Замка есть свои «ризомы» в коридорах и канцеляриях, что барьер или разлом, учрежденный законом, просто-напросто бесконечно уменьшился в непрерывной последовательности ячеек и молекул. Желание — это только молекулярная версия Закона. Какое странное совпадение схемы желания и схемы контроля.

Это спираль власти, желания и молекулы, которая на этот раз открыто приводит нас к конечной перипетии абсолютного контроля.

Осторожно, молекулярно!

Этот поворот у Фуко происходит постепенно, начиная с «Надзирать и наказывать», идет вразрез с «Историей безумия» и всем оригинальным построением его генеалогии. Почему секс не мог, как безумие, пройти через фазу заточения, где тайно начали бродить понятия разума и преобладающей морали, пока, согласно логике исключения, секс и безумие снова не стали референциальными дискурсами?

Секс снова становится лозунгом новой морали, безумие снова становится парадоксальным разумом общества, которое слишком долго тревожилось об его отсутствии и на этот раз установило его (нормализованный) культ под знаком своего собственного освобождения.

Такова и траектория секса в искривленном пространстве дискриминации и подавления, где построение мизансцены имеет характер длительной стратегии, направленной на то, чтобы позднее предъявить секс, как новое правило игры. Подавление, *тайна* - это место воображаемой записи, на основании которой безумие или секс впоследствии будут подлежать обмену как и стоимость.[9] Везде, как это хорошо показал сам Фуко, дискриминация — принудительный акт основания Разума; почему же это не может отно ситься и к сексуальному разуму?

На этот раз мы находимся в целом универсуме, в пространстве, излучаемом властью и вместе с тем покрытом трещинами, как разбитое лобовое стекло, которое еще держится.

Однако эта «власть» остается тайной: удаляясь от деспотической централизованности, она на полпути превращается в «множество отношений сил» (но такое отношение сил без результирующей сил — это почти многогранники папаши Убю, которые разбегаются как раки в разные стороны), чтобы в конечной точке оказаться *сопротивлениями* (божественный сюрприз на с. 126!) настолько малыми, настолько незначительными, что в этом микроскопическом масштабе атомы власти и атомы сопротивления будут буквально перемешиваться — один и тот же фрагмент жеста, тела, взгляда, дискурса содержит положительное электричество власти и отрицательное электричество сопротивления (при этом возникает вопрос: каково же происхождение этого сопротивления, если ничто в книге

[9] Сексуальный дискурс создается в подавлении, именно подавление говорит о сексе лучше, чем любой другой дискурс. В подавлении и только там секс обладает реальностью и интенсивностью, так как только заточение наделяет его силой мифа. Его освобождение — это начало его конца.

не подготавливает к его появлению, за исключением намека на нерасторжимые «отношения силы»; но поскольку в точности то же самое можно спросить и о власти, власть и сопротивление уравновешиваются в дискурсе, который, в сущности, непоколебимо описывает только одну подлинную спираль — спираль своей собственной власти).

Все это не возражение. Прекрасно, что понятия утрачивают свой смысл у границ текста,[10] но они делают это в недостаточной степени. Фуко лишает смысла понятие секса и его принцип истины («фиктивная точка секса»), но он не лишает смысла понятие власти. Аналитика власти не доведена до конца, до той точки, где власть упраздняется, или там, где ее никогда не было.

По мере того, как экономическая референция теряет свою силу, преобладающими становятся либо референция желания, либо референция власти. Референция желания, рожденная в психоанализе, достигает расцвета в делезовском анти-психоанализе в виде рассыпавшегося молекулярного желания. Референция власти, имеющая долгую историю, сегодня перенесена Фуко на уровень рассеявшейся промежуточной власти, расстановки тел и разветвления систем контроля. Фуко, по меньшей мере, избегает желания, так же как и истории (хотя и не отрицая их, осторожничая, как всегда), однако у него все еще сводится к *некоему роду* власти, и это понятие не редуцируется и не очищается — так же у Делеза все сводится к *некоему роду* желания или у Лиотара — к *некоему роду* интенсивности, раздробившимся понятиям, которые, однако, остались чудесным образом неповрежденными в их обычном значении.

Желание и интенсивность являются понятиями/ силой, тогда как власть у Фуко, даже распыленная, является понятием *структуры,* поляризованным понятием, генеалогически совершенным, необъяснимым в своем присутствии, понятием, которое невозможно превзойти, несмотря на некое скрытое его разоблачение, которое целиком присутствует в каждой из своих точек или микроскопических пунктиров, и неясно, что могло бы обратить его вспять (ту же самую апорию мы находим у Делеза, где обращение желания в его собственное подавление необъяснимо). Нет больше акта насилия власти, просто ничего нет ни по ту, ни по другую сторону (если переход «молярного» в «молекулярное» для Делеза это еще *революция* желания, то для Фуко — это анаморфоза власти). Но тут от Фуко ускользает, что власть, даже бесконечно малая, начинает разрушаться, и что она не только размельчена, но рассеяна, что она подорвана реверсией, изнурена обратимостью и смертью, которые не могут быть выявлены в одном только генеалогическом процессе.

У Фуко мы всегда соприкасаемся с политической детерминацией в последней инстанции.

Некая определенная форма господствует, преломляясь по-разному в тюремной, военной, приютской, дисциплинарной моделях, она уже не уходит корнями в обычные производственные отношения (напротив, производственные отношения моделируются в соответствии с ней), по-видимому, обретая основание своих процедур внутри себя самой — и это огромный прогресс по отношению к той иллюзии, что власть *основывается* на субстанции производства или субстанции желания:

Фуко разоблачает все иллюзии, касающиеся цели и основания власти, но он ничего не говорит нам о *симулякре самой власти.*

Власть — это необратимый принцип организации, она производит реальное, все больше и больше реального, создавая квадратуру, номенклатуру, безапелляционную диктатуру, которая никогда не уничтожает себя, не захлестывается вокруг самой себя, не смешивается со смертью.

В этом смысле, даже если у нее нет конечной цели и окончательного приговора, власть

---

[10] Это самое большее, на что может рассчитывать теория, а не на то, чтобы выразить некую истину или, тем более, «отделаться от инстанциии секса» — все это благие пожелания, и к тому же: если нет подавления, то что такое освобождение? Но можно держать пари, что на этом горизонте взойдет новое воинствующее поколение, потрясая «новыми процедурами истины».

сама становится *конечным принципом,* она — последнее слово, неустранимое сплетение, последняя история, которую можно рассказать; она то, что образует структуру нерешенного урав нения мира.

Согласно Фуко, это и есть *ловушка власти,* а не только западня дискурса. Но он не видит того, что власти тут никогда нет, что ее институция, подобно утверждению пространственной перспективы («реального» пространства) Ренессанса, это только симуляция перспективы, что она является реальностью не больше, чем экономическое накопление (величайшая иллюзия), и будь то накопление времени, стоимости, субъекта и т. д., аксиома и миф реального или возможного накопления управляет нами повсюду, но тем не менее мы *знаем,* что никогда ничего не накапливается, что запасы поглощают сами себя, так же как современные мегаполисы или перегруженная память. Любая попытка накопления заранее побеждена пустотой.[11] Что-то в нас самих растрачивается под знаком смерти, ведет к распаду, разрушению, уничтожению, хаосу, так что мы можем сопротивляться давлению реального и жить. Что-то в глубине всей системы производства *сопротивляется бесконечности производства* - иначе мы были бы уже погребены под ним. Внутри власти тоже есть нечто, что сопротивляется, и не видно разницы между теми, кто властвует, и теми, кто подчиняется, это различие больше не имеет смысла, не потому что роли эти взаимозаменяемы, но потому что власть *обратима по своей сути,* поскольку с той и с другой стороны что-то сопротивляется одностороннему осуществлению власти, бесконечности власти, как, в другом случае, что-то сопротивляется бесконечности производства. Это сопротивление вовсе не «желание», это то, что приводит власть к разрушению по мере ее необратимого логического расширения. И сегодня это происходит повсюду.

На самом деле, весь анализ власти требует критического пересмотра. Иметь или не иметь власть, брать ее или терять, воплощать или оспаривать, — если бы все это и было властью, то власти бы не существовало. Фуко говорит нам и еще кое-что: власть — то, что функционирует,

«это не установление, не структура, не могущество — это имя, которое применяется к сложной стратегической ситуации в данном обществе», она не центральная, не односторонняя, не преобладающая, она — распределяющая, векторная, она действует через реле и трансмиссии. Власть — это неограниченное, имманентное поле сил, и нам все еще непонятно, на что она наталкивается, во что она упирается, поскольку власть — это экспансия, чистое намагничивание. Между тем, если бы власть была этой магнетической, бесконечной инфильтрацией социального поля, она давно бы уже не встречала никакого сопротивления.

И наоборот, если бы она строилась на одностороннем подчинении, как в традиционной оптике, то давно уже была бы повсеместно низвергнута. Она рухнула бы под давлением антагонистических сил. Однако этого никогда не происходило, не говоря о нескольких «исторических» исключениях. Материалистическому мышлению это может показаться только извечно неразрешимым вопросом: почему «управляемая» масса не ниспровергает власть немедленно? Откуда берется фашизм? Против этой однобокой теории (понятно, правда, почему она выживает, особенно у «революционеров», ведь они хотели бы власти только для самих себя), против этого наивного взгляда, как и против функционального взгляда Фуко, выражающегося в понятиях реле и трансмиссии, мы должны возразить, что *власть — это нечто, подлежащее обмену.* Не в экономическом смысле, а в том, что власть осуществляется согласно обратимому циклу совращения, вызова и уловки (не ось, не передача до бесконечности, а цикл). И если власть не может обмениваться таким образом, то она просто-напросто исчезает. Мы можем сказать, что власть *совращает,* но не в

---

[11] Именно эта невозможность накопления влечет за собой равную невозможность подавления. Ибо подавление — это только обратная фигура накопления по другую сторону барьера.

вульгарном смысле того желания, которое испытывают угнетенные (это значило бы полагать власть на *желании других* и, следовательно, держать людей совсем за дураков); нет, она совращает той обратимостью, которая в ней всегда присутствует, на которой основывается минимальный символический цикл. Угнетатели и угнетенные существуют не более, чем палач и жертва (тогда как «эксплуататоры» и «эксплуатируемые» действительно существуют с обеих сторон, поскольку в производстве нет обратимости, и в этом все дело: ничего существенного на этом уровне не происходит). Власть не предполагает антагонистических позиций: она осуществляется согласно циклу совращения.

Не существует однонаправленности отношения сил, на которой могла бы основываться «структура» власти, «реальность» власти и ее вечного движения, которое предстает с традиционной точки зрения линейным и конечным, а у Фуко излучающимся и спиралевидным.

Власть, односторонняя или сегментарная: эта греза власти навязана нам разумом.

Но ничто не хочет существовать таким образом, напротив, все, включая власть, ищет свою собственную смерть. Или, скорее, (что, впрочем, то же самое) все стремится обмениваться, обращаться, уничтожаться в цикле (вот почему в действительности нет вытеснения и нет бессознательного, поскольку обратимость всегда уже тут как тут). *Только это одно по-настоящему совращает,* только это — наслаждение, тогда как власть удовлетворяет лишь определенной господствующей логике разума. Но совращение в ином.

Совращение сильнее, чем власть, потому что оно обратимый и подверженный смерти процесс, тогда как власть хочет быть необратимой, как стоимость, и, так же как стоимость, кумулятивной и бессмертной, — она разделяет все иллюзии реального и производства, она хочет принадлежать строю реального и таким образом ниспровергается в воображаемое и превращается для самой себя в суеверие (с помощью теорий, которые ее анализируют, хотя бы для того, чтобы с ней спорить).

Совращение не принадлежит порядку реального, оно никогда не принадлежит ни порядку силы, ни отношению сил. Но именно поэтому оно окутывает весь реальный процесс власти, так же как и весь реальный порядок производства, этой непрерывной обратимостью и постоянным растрачиванием — без которых *не было бы ни власти, ни производства.* Пустота — вот, что скрывается за властью или в самом сердце власти и производства, пустота сообщает им сегодня последний отблеск реальности. Не будь того, что делает их обратимыми, уничтожает, совращает, у них никогда не было бы силы реальности.

К тому же реальное никогда никого не интересовало.

Оно преимущественно место разочарования, место противодействующего смерти симулякра накопления. Ничего не может быть хуже. Реальность и истину делает иногда притягательными только скрывающаяся за ними воображаемая катастрофа. Неужели вы думаете, что власть, экономика, секс — все эти великие трюки *реального* продержались хоть одно мгновение, если бы не то очарование, которое от них исходит и которое они получают из того зеркала, в котором они отражаются, из их непрерывного обращения, из ощутимого и имманентного наслаждения собственной катастрофой?

Сегодня больше, чем когда-либо, реальное — лишь запас мертвой материи, мертвых тел, мертвого языка. Сегодня только оценка *запаса реального* еще дает нам чувство уверенности (не будем говорить об энергии: за экологической жалобой скрывается тот факт, что на горизонте видов исчезает не материальная энергия, а *энергия реального,* реальность реального и всякой серьезной возможности капиталистического или революционного управления реальным): если исчез горизонт производства, то ему на смену еще может прийти горизонт дискурса, сексуальности, желания, всегда будет что-то, что можно освобождать, чем можно наслаждаться, о чем можно перекинуться словом с другими: это реальное, субстанция, запасы на будущее. Это власть.

К несчастью, нет. То есть ненадолго. Все это шаг за шагом поглощает себя. Мы сделали, захотели сделать секс необратимой инстанцией, так же как и власть, а желание — силой, необратимой энергией (нет нужды говорить *запасом* энергии — желание всегда

находится рядом с капиталом). Ибо мы, в соответствии с нашим воображаемым, видим смысл лишь в том, что необратимо: накопление, прогресс, рост, производство, стоимость, власть и само желание — процессы необратимые (введите ничтожную дозу обратимости в наши экономические, политические, институционные, сексуальные установления и все немедленно рухнет). Именно это обеспечивает сексуальности сегодня мифическую власть над телами и сердцами. Но, одновременно, это делает ее хрупкой, как и всю систему производства.

Совращение сильнее, чем производство. Оно сильнее, чем сексуальность, с которой его ни при каких условиях нельзя смешивать. Оно не является процессом, присущим сексуальности, хотя его обычно низводят до этого. Оно — циклический, обратимый процесс вызова, чрезмерного обещания и смерти. Сексуальное же, напротив, его редуцированная форма, ограниченная энергетическими пределами желания.

Мы должны анализировать это смешение процесса совращения с процессом производства и власти, вторжение минимума обратимости в каждый необратимый процесс, что приводит к его разрушению и тайному упразднению, и одновременно обеспечивает тот минимальный континуум наслаждения, который проходит через него, без которого он был бы ничем. И мы должны знать, что всегда и везде производство стремится уничтожить наслаждение, чтобы утвердиться на одной экономике, управляющей отношениями силы, что везде секс, производство секса стремится уничтожить совращение, чтобы укорениться на одной экономии отношений желания.

«Когда Иисус восстал из мертвых, он стал зомби».

Graffiti-Watts, Los Angeles

«Мессия придет только тогда, когда больше не будет нужен. Он придет только на следующий день после пришествия.
Он не придет в день Страшного
Суда, он придет на следующий день».

Кафка

Вот так они будут ждать мессию не только весь следующий день, но и все последующие дни, хотя он уже побывал здесь. Или иначе говоря: Бог уже умер задолго до того, как об этом стало известно, — так световые года отделяют одно и то же событие для одной звезды и для другой, отделяют пришествие от пришествия.

Вот так они всегда будут опаздывать к революции.

Или скорее: они будут день за днем ждать революцию, хотя она уже свершилась, и когда она произойдет, то в ней уже не будет никакой необходимости, она будет не более чем знаком того, что уже произошло.

Неужели мессия и революция значат так мало, что всегда приходят с опозданием, как отбрасываемая тень, как запаздывающий эффект реальности, тогда как вещи, чтобы происходить, никогда не нуждаются в мессии или революции.

Но в конце концов революция означает только одно: то, что она уже произошла, что она имела смысл непосредственно до этого, днем раньше, но только не сейчас. Революция происходит только для того, чтобы скрыть, что в ней больше нет никакого смысла.

На самом деле революция уже была. Не буржуазная, не коммунистическая, а просто революция.

Это значит, что полный цикл завершился, а они этого не заметили. И все продолжают играть в линейную революцию, тогда как она уже захлестнулась вокруг себя, чтобы

породить свой симулякр, подобно лепным ангелам, конечности которых соединяются в кривом зеркале.

Все вещи обретают конец в их удвоенной симуляции, и это знак, что цикл завершен.

Когда эффект реальности, словно бесполезный мессия, который приходит на следующий день, начинает без пользы удваивать ход вещей, то это значит, что цикл заканчивается в игре симулякров, где все проигрывается заново перед тем, как умереть, и где все пропадает за горизонтом истины.

Бесполезно поэтому гоняться за властью или говорить о ней до бесконечности, ибо отныне она тоже стала частью сакрального горизонта кажимостей, она здесь только затем, чтобы скрыть, что ее больше не существует, или, скорее, что после апогея политики начинается спад, другая фаза цикла, обращение власти в собственный симулякр.

Завладеть властью можно не больше, чем завладеть тайной. Ибо тайна власти — в том же, в чем и тайна тайны: она в том, что ее нет.

В другой фазе цикла, фазе упадка реального, операциональной является только мизансцена тайны или власти, но это знак того, что субстанция власти после своей беспрерывной экспансии на протяжении нескольких веков внезапно взрывается изнутри, и что сфера власти сжимается, превращаясь из звезды первой величины в красного карлика, а затем в черную дыру, которая поглощает всю субстанцию реального, все окружающие энергии, разом преобразившиеся в чистый знак, знак социального, плотность которого нас подавляет.

Не инстанция, не структура, не субстанция и, на самом деле, не отношение сил: власть — это вызов. От идола власти примитивных обществ, который говорит, чтобы нечего не сказать, до актуальной власти, которая существует только для того, чтобы заклинать отсутствие власти, был пройден весь цикл, цикл двойного вызова. Вызова, который власть бросает всему обществу. И вызова, который брошен тем, кто имеет власть. Это и есть тайная история власти и ее катастрофы.

Рассмотрим *реальную* историю капитала.

Все материалистическое критическое мышление это только попытка остановить капитал, заморозить его в момент его экономической и политической рациональности. «Стадия зеркала» капитала, убаюканного сиренами диалектики. Точно так же, разумеется, это диа лектическое мышление парализует все то, что сопротивляется ему на этой стадии. К счастью, капитал не дает заключить себя в эту модель, он превосходит ее в своем иррациональном движении, избавляясь от материалистического мышления, замкнувшегося в своей ностальгической диалектике и уже утраченной идее революции, — материалистическое мышление, которое, в сущности, было только весьма поверхностным моментом теории, и в еще большей степени тормозом, попыткой нейтрализовать в хорошо темперированной социальности, в идеальной социальной прозрачности глубинное столкновение, *смертельный вызов самому социальному.* Сегодня, после устранения консервативного препятствия критического мышления крайности, наконец, сошлись лицом к лицу. Сталкиваются не только социальные силы (которыми, однако, управляет одна великая модель социализации), но сталкиваются также формы — форма капитала и форма жертвы, форма стоимости и форма вызова, *ставка которых — смерть социального.* Само социальное должно рассматриваться как модель симуляции и как форма, которая должна быть разрушена, ибо это стратегическая форма стоимости, жестко установленная капиталом, а затем идеализированная критическим мышлением, и мы все еще не знаем того, что же все время противостояло ей и сегодня неотвратимо ее разрушает.

Этот фундаментальный вызов все типы власти старались закамуфлировать в виде соотношения сил — угнетатель/угнетаемый, эксплуататор/ эксплуатируемый, — выстраивая все сопротивления перед собой во фронт (именно эта концепция, хотя и сведенная к микростратегиям, все еще преобладает у Фуко, головоломка партизанской войны просто замещается войной на шахматной доске). Ибо в терминах отношений сил власть всегда

является выигрывающей, даже если она в каждой новой революции переходит из рук в руки.

Сомнительно, чтобы кто-нибудь когда-нибудь верил в то, что власть можно победить силой. Скорее, в глубине души все знают, что всякая власть — персональный вызов ему самому, смертельный вызов, и на него можно ответить только встречным вызовом, который разбивает логику власти или, вернее, подчиняет ее круговой логике. Таков этот не политический, не диалектический, не стратегический ответный вызов, мощь которого на протяжении истории неизмерима: это вызов тем, кто удерживает власть, — вызов принять на себя всю власть до конца, которым может быть лишь смерть угнетенных. Это вызов власти быть властью: тотальной, необратимой, свободной от угрызений совести, прибегающей к беспредельному насилию. Никакая власть не осмеливается зайти так далеко (где в любом случае она бы тоже погибла). И вот здесь, перед этим вызовом без ответа, она и начинает рушиться.

Было время, когда власть соглашалась пожертвовать собой согласно правилам этой символической игры, которой она не в силах избежать. Время, когда власть была эфемерным и смертоносным свойством того, что должно быть принесено в жертву. С тех пор как она постаралась ускользнуть от этого правила, то есть перестала быть властью символической, чтобы стать политической властью и стратегией социального господства, символический вызов не перестал преследовать власть в ее политическом определении и разрушать истину политики. Сегодня под дей ствием этого вызова вся субстанция политики рушится. Мы дошли до того, что никто больше не берет на себя власть и больше не хочет власти, и не в силу какой-то исторической слабости или слабости характера, но потому что ее тайна утрачена и никто больше не хочет принимать брошенный ей вызов.

Действительно, достаточно заключить власть во власти, чтобы она разлеталась на куски.

Против этой «стратегии», которая, впрочем, таковой не является, власть защищалась всеми возможными способами (в этом и состоит ее осуществление) — своей демократизацией, либерализацией, вульгаризацией, и с недавнего времени децентрализацией, детерриторизацией и т. д. Но если «отношения силы» легко дают поймать себя в ловушку и обезвредить уловками политики, то ответный вызов, в его неизбежной простоте, заканчивается только вместе с властью.

Люди всегда рассуждают в понятиях стратегий и отношений сил, они видят только отчаянные усилия угнетенных избежать угнетения или вырвать власть. Они никогда не оценивают фантастическую мощь вызова, потому что он является неослабевающим и невидимым (притом, что эта мощь может проявляться в крупномасштабных действиях, но это действия «без цели, без длительности, без будущего»). Ибо этот вызов безнадежен, но надежда — весьма сомнительная ценность, и сама история — это ценность, которая деградирует во времени, которая разрывается между целью и средствами. Все исторические ставки заменимы, они могут стать предметом сделки, они *диалектичны.* Вызов — это противоположность *диалога:* он создает не диалектическое, а неизбежное пространство. Он ни цель, ни средство: он противопоставляет свое собственное пространство пространству политическому.

Он не знает ни среднего, ни долгого срока, его единственный срок — мгновенность ответа или смерти. Все то, что линейно, история в том числе, имеет конец, только у вызова нет конца, поскольку он бесконечно обратим. Именно эта необратимость делает его невероятно сильным.[12] Никто никогда серьезно не рассматривал это другое, неполитическое

---

[12] Без сомнения, это та же самая обратимость, при которой женское воздействует на мужское на протяжении всей сексуальной истории нашей культуры: вызов женского мужскому — получить только свое наслаждение, осуществить только свое право наслаждения и пола. Право сексуальной сдержанности женщин и отказа от наслаждения, их постоянное обращение, постоянное преломление сексуальной власти в пустоте всегда создавали неизмеримое давление без ответа, возможного с «сильной», мужской стороны, — за исключением бегства вперед, в фаллократию. Под действием этого самого вызова фаллократия рушится, унося с собой всю традиционную сексуальность, а вовсе не под социальным давлением ка кого-либо женского освобождения.

лицо власти, лик символической реверсии. Однако именно этот ответный вызов, с его неопределенно стью, которую ему сообщает пустота, всегда участвовал в игре, и восторжествовал над по литическим определением власти (централь ной, законодательной, полицейской). И это он еще действует в современной фазе власти, когда она кажется только неким искривлением социального пространства, суммированием рассеянных частиц или собиранием случайных элементов в «группу» (любой термин, пришедший из микрофизики или из теории информатики, может быть перенесен сегодня на власть, так же как и на желание). Такова фаза власти по Фуко, вождю, индуктору и стратегу слова, но осуществляемый им переход от репрессивной центральности к подвижной позитивности власти — только перипетия.

Ибо мы остаемся в дискурсе политики,

«мы никогда не выходили из него», — говорит Фуко, хотя дело как раз в том, чтобы уловить радикальную неопределенность политики, ее несуществование, ее симуляцию и то, что отсюда вновь направляет на власть зеркало пустоты. Кому нужно символическое насилие, более могущественное, чем всякое политическое?

Рассмотрим теперь *реальную* историю классовой борьбы. Ей принадлежат только те моменты, когда угнетенный класс сражался, отрицая себя самого «как такового», исходя из того единственного факта, что он ничто.

Маркс сказал ему, что однажды надо будет перестать существовать, но это все еще политическая перспектива. Когда сам класс или часть класса желает действовать в качестве радикального не-класса, в качестве несуществования класса, то есть мгновенно разыграть свою собственную смерть в эксплозивной структуре капитала, когда он выбирает внезапную имплозию, вместо того чтобы стремиться к политической экспансии и гегемонии, тогда возникают июнь 48-го, коммуна или май 68-го. Секрет пустоты здесь в неизмеримой силе имплозии (вопреки нашему воображаемому революционного взрыва) — вспомните Латинский квартал 3-го мая пополудни.

Сама власть никогда не воображала себя властью, и тайна великих политиков заключалась в том, чтобы знать, что власть *не существует,* Знать, что она только перспективное пространство симуляции, каким является и живописное пространство Ренессанса, и если власть совращает, то именно потому (чего наивные реалисты в политике никогда не поймут), что она — симулякр, и потому что она превращается в знаки и измышляет себя, исходя из знаков (вот почему *пародия,* обращение знаков или их ложное раздувание может затронуть ее глубже, чем любое отношение сил). Этой тайной несуществования власти, тайной великих политиков, также владеют и великие банкиры, которые знают, что деньги — это ничто, что денег не существует, и великие теологи и инквизиторы, которые знали, что Бог не существует, что Бог мертв. Это дает им невероятное превосходство. Когда власть улавливает эту тайну и бросает себе свой собственный вызов, тогда она воистину является высшей властью. Когда она перестает это делать и стремится найти истину, субстанцию, репрезентацию (в воле народа и т. д.), тогда она теряет свое могущество, и тогда другие бросают ей ответный вызов не на жизнь, а на смерть, пока она действительно не умрет от самовлюбленности, от воображаемого образа себя, от суеверной веры в себя как в субстанцию, умрет, потому что перестанет признавать себя как пустоту, как обратимую в смерть. Когда-то вождей убивали, если они теряли эту тайну.

Когда столько говорят о власти, это значит, что ее больше нигде нет. То же самое можно сказать о Боге: фаза его повсеместного присутствия только ненамного опередила ту, когда он уже был мертв. Хотя смерть Бога, без сомнения, предшествовала фазе его вездесущности.

То же относится и к власти: о ней так много говорится только потому, что она преставилась, потому что она фантом, марионетка — таков смысл слов Кафки: мессия, являющийся на следующий день, это только воскрешенный из мертвых Бог, зомби. Тонкость

и микроскопичность анализа — это своего рода следствие ностальгии. И так мы везде видим власть, спаренную с совращением (это почти что необходимость в наше время) ради того, чтобы наделить ее вторым существованием.

Свежую кровь власть получает от желания.

И она сама уже не более чем эффект желания на границе социального, некий эффект стратегии у границ истории. Вот здесь и вступают в игру «виды» власти Фуко: привитая к интимности тел, к движению дискурса, пролаганию пути жестов самая вкрадчивая, самая изощренная, самая дискурсивная стратегия, которая отдаляет власть от истории и сближает ее с совращением.

Это универсальное обаяние власти в ее практике и ее теории столь интенсивно, потому что это очарование власти мертвой, характеризуемой эффектом воскрешения всех уже виденных форм власти непристойным и пародийным образом — точно так же, как это происходит с сексом в порнографии. Неизбежность смерти всех великих референтов (религиозного, сексуального, политического и т. д.) выражается в усилении характеризовавших их форм насилия и репрезентации.

Никакого сомнения, что фашизм, например, являлся первой непристойной и порнографической формой отчаянного «возрождения» политической власти. Будучи насильственной реактивацией власти, которая отчаивается в своих рациональных основаниях (форма репрезентации, исчерпавшая свой смысл на протяжении XIX и XX вв.), будучи насильственной реактивацией социального в обществе, которое отчаивается в собственных рациональных и договорных основах, — фашизм, однако, единственная современная очаровывающая власть, так как со времен Макиавелли это единственная власть, которая утверждает себя как таковую, как вызов, пренебрегая всякой «истиной» политики, и это единственная власть, которая приняла вызов идти вплоть до самой смерти (своей собственной или других). К тому же, именно в силу того, что фашизм принял этот вызов, он и извлек выгоду из этого странного согласия, этого отсутствия сопротивления власти. Почему все эти *символические* виды сопротивления пали перед фашизмом — факт, уникальный в истории?

Никакая идеологическая мистификация, никакое сексуальное вытеснение по Райху не могут этого объяснить. Только вызов может спровоцировать такое страстное желание ответить на него, такое безумное согласие на ответную игру и устранить таким образом все виды сопротивления.

Впрочем, это остается тайной: почему отвечают на вызов? По какой причине соглашаются играть с полной самоотдачей и чувствуют непреодолимое желание ответить на беззаконное приказание?

Таким образом, фашистская власть, единственная, которая оказалась в состоянии восстановить ритуальный престиж смерти, но (и это здесь самое важное) уже посмертно и фальшиво, в виде чрезмерных обещаний и инсценировки, осуществленный, как это хорошо увидел Беньямин, на менер эстетический, который является уже далеко не жертвенным.

Политика фашизма — это эстетика смерти, эстетика в духе ретро, и все то, что с тех пор отдает дань ретро, должно вдохновляться фашизмом как уже *ностальгическими* непристойностью и насилием, как реакционным сценарием власти и смерти, устаревшим сразу же после своего появления в истории.

Вечно откладываемое явление мессии, как говорит Кафка, вечная внутренняя симуляция власти, которая всегда уже только знак того, чем она была.

Ту же ностальгию и ту же симуляцию в духе ретро мы обнаруживаем, когда сегодня речь заходит о видах «микро»-фашизма и «микро»-власти. Механизм «микро» только редуцирует, не находя другого решения, то, что могло быть фашизмом, и делает из крайне сложного сценария симуляции и смерти упрощенное «плавающее означающее»,

«главная функция которого — разоблачение» Фуко. Но его функция — это еще и призыв, ибо возвращение фашизма (как и возвращение власти), пусть даже и в микроформе, — это еще и ностальгическое взывание к политике, истине *политики,* и в то же

самое время она позволяет нам спасать гипотезу желания, исходя из которой власть или фашизм всегда могут казаться только его параноидальным случаем. Во всяком случае, власть — иллюзия, истина — иллюзия. Все существует в молниеносном ракурсе, где заканчивается полный цикл накопления, власти или истины. Нет никогда ни инверсии, ни субверсии: цикл должен быть завершен. Но это может произойти мгновенно. В этом ракурсе разыгрывается смерть.